

XII

журнал поэзии

ЛАВА

ДВ

двенадцать



ЛАВА

XII

журнал поэзии

литературный сад



Харьков
2012
ТОЧКА

ISBN 978-966-8669-72-9

Главный редактор:

Герман Титов

Редакционный Совет

Харьков:

Богдан Ант

Елена Амберова

Ирина Жарикова

Виталий Ковальчук

Андрей Костинский

Евгений Кривочуприн

Инна Олейник

Герман Титов

Юрий Шкурко

Киев:

Анна Долгарёва

Кёльн:

Ольга Олгерт

Редакция

Богдан Ант

Виталий Ковальчук

Андрей Костинский

Евгений Кривочуприн

Герман Титов

Юрий Шкурко

Издание является неотъемлемой частью
проекта клуба поэзии «АВАЛ»
(руководитель – Андрей Костинский)

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие Читатели!

Этот весенний, 12-й номер журнала поэзии «ЛАВА» посвящён литературе как цветущему саду, изобретательно благоустроенному парку. Парку **культуры** – в подлинном значении этого слова. Ведь, как известно, слово «*культура*» происходит от латинского слова «*cultura*», что означает возделывание, воспитание.

В европейской культуре бытовало также понятие Сада Земных Наслаждений. Но какое земное наслаждение может сравниться со знакомством с новым поэтическим словом, с неожиданно свежим и живым прозаическим текстом?

Редакция не ставила себе целью отобрать тексты «безусловные» во все их отношениях, дистиллировано прекрасные, и, этим самым, заведомо скучные, «ожидаемые», сходные с тем, что печатается во всех наших толстых журналах. В «ЛАВЕ» наряду с сильными и профессиональными произведениями, всегда находится место и для дебюта, подчас наивного, но главное – искреннего.

Находится место и для того, что мы бы назвали *поэтическим фольклором* новой эпохи, для сочинений не вполне профессиональных, но всегда своеобразных, обращённых непосредственно к эмоциям читателя, к его «душе».

И кто сказал, что это хуже постахматовской тоски и натужного новаторства иных профессионалов?

В нашем литературном саду неленивый читатель найдёт уютную Ротонду, несколько изящных Цветников (где произрастают и местные цветы, и экзотические их родственники),

Партеры, Террасы, тенистый Грот и, конечно же, Патио, где можно приятно отдохнуть и поразмышлять под тёплым небом весны.

Добро пожаловать в наш **литературный сад!**

Редакция
журнала поэзии «ЛАВА»



Новые произведения присылайте по адресу:

coast-in-sky@mail.ru
germanostitois@mail.ru

Телефоны редакции

(057) 759-72-28 и (097) 259-33-68
сайт: avalpoem.ru

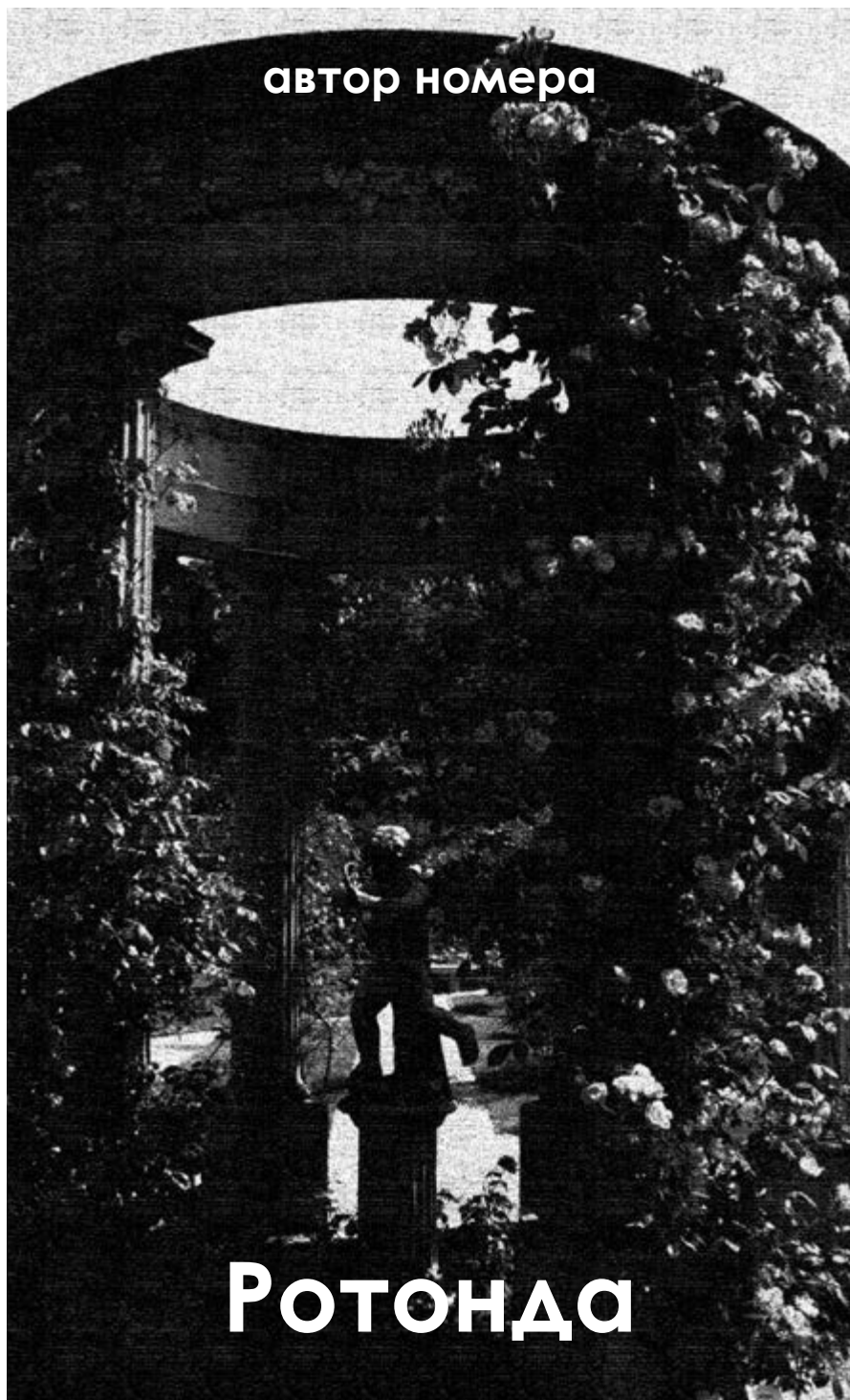
Группы ВКонтакте

АВАЛ, АВАЛГАРД



автор номера

Ротонда





Геннадий Креймер
Ганновер – Санкт-Петербург



Так бывает ли со всеми? –
в смотровую глянешь щель:
ты проносишься сквозь время
словно поезд сквозь метель,

расплываясь в общем танце,
как сатурново кольцо,
хоть и в транспорте и в трансе
сохраняется лицо –

только всем приставят нолик,
колпачок, бумажный щит,
и заботливый историк
нас уже не различит;

замираем на мгновенье
в виде смазанных следов,
ощутив прикосновенье
нам незримых проводов.

И витрина и троллейбус
разожгут свои огни
и на весь колючий Невский
мы окажемся одни...

Ни о чем таком не вздрогнув
мы проходим на места
(нумерация вагонов
начинается с хвоста),

и плывут дома, трущобы,
свалки, трубы, тополя
(разумеется – еще бы! –
вся родимая земля),





сквозь стекло мелькают елки,
сосны, Тосно – карусель!
вечно боковая полка,
бесконечная метель.



Цветник

СТИХИ





Алиса Волкова	3
Андрей Костинский	7
Анна Минакова	11
Богдан Ант	18
Варя Перцева	20
Владимир Брюгген	26
Герман Титов	35
Елена Амберова	41
Инна Олейник	43
Ирина Жарикова	46
Ирина Кузнецова (Полина Ланских)	49
Леонид Шептовицкий	55
Марина Гуртовая	57
Михаил Красиков	60
Светлана Коношенко	61
Станислав Минаков	68
Юрий Шкурко	71



Алиса Волкова

Харьков



Силуэт вечера отражается на стене.
кружка. руки плавающие
в темноте.
приютился в углах сознания смех.
поле. сны прокрадываются за пороги.
несмирный огонь пеплом прощает
ладони.
линии их сморщенные. неправдивые.

в агонии
отдают Всех,
получая Мы.

проблеск утра. стрелка скрипит, но тащится в авангард.
скрещены пальцы, левые-правые-одинаково,
плавники прирастают к тем, кто ходит по дну.
изоляторы крепятся к небу, языкам не давая воли,
не сбивали чтобы
волну одну
юродивые,
рвущиеся без брони на фронт,
кто куда,
ли ж бы прошлого силуэтам не оставлять места.

выбирая несколько других дверей из ста,
я найдусь. и погасшие фонари
будут кивать первопроходцам. сон
отбирает свои права,
но не решаясь обвести взглядом пейзаж.
очерк мерцает. ползет граница воспринимаемых солнц.

в агонии
отдают Всех,
получают 'Мы' первооснов





добровольцы

долго
немыслимо
пленники-призраки
шли по закрытым туннелям

если открытые окна видятся
из-под нависших пластин серости
нечего
мне
вопреки
знанию
встать и уйти
от наблюдения

просто...однажды...словно пронзаемый
я окунусь в забытые боли

я окунусь
и не хватит воздуха
буду жадно глотать остатки
плоти
что создавала течение времени

поперечные срезы нервов
распечатаны
и повешены над горизонтом

встать и уйти, только обуться
в ранний рассвет
что видели пленники
ежесекундно
идя
на смену

ты или я
ты или где-то нашелся соратник смертников
ли ж бы увидеть лица
в последний момент
выходя из бездны
ныряя в следующую





за или против

не спрашивай в голос
за или против
встряску устраивая пространству вязкому

противодействие – подобие благодати

мы изувечены холодом между

преданность утекает в отсутствие
хроноса
пересыпаясь из чаши в эхо

шаткие ножки у твоих подставочек
раз – и проснулся на полу, надломленный
и не кричать не рыдать - очевидно
сформировал сам себе вирусы

отстроились
решетками заржавельми
желания
свет сквозь них промелькнул
и треснули
все твои доводы
за или против

в комнате ли свершаются подвиги

послесловие
послевкусие
после всего пусто

Едкие оттенки. Ночь ество

Протягиваются едкие щупальца холодного яда по организму, из точки в грудной. Ночь в самом соку. Мне (тому, кто хранит это тело) удивительно объявлять внутри новый приступ.

Центровкарежетнебо, покоторомуходим. Собственники. Присвоить храмы надумали, Разум переходит в режим предохранения, набор «стандарт» – семья, дети.

Обвал построек из мандал на песке, восточный ветер облегает фигуры. Сквозь них сочится искра, ее называют снисхождением вдохновения, северное сияние посреди комнаты.





Мерещится геометрия или на самом деле она. Кадры простроены до каждого кванта света.

Но я – лишний, чуждый мысленный элемент, как и эти тротуары. Извиваются мозаикой несведущие корни фундамента. Приторно. Сумеречные. Слепые. Идут напролом и по лесным чащам.

Сигналы значат, что путь – разлагаться, закрывая уши, невыносимый шум, предвестник деструкции структур кристаллических решеток. Иначе – развернуться и отпустить праздность, сворачивая в единую точку потолок, водные покровы, подземелья, вертикальности.

Кто обещает, что тогда пройдет приторность идеальных моментов, сомнения? Истеричность ответов самому себе не убеждает ни в чем, разве что в той самой сомнительности. Жду свежего шелеста падающего снега.

Только дотронься, и щупальца жалят, но яд их, вероятно, можно трансформировать в избыточность, органически лишнюю для матричных элементов.

одиночество. истребление. прострация.

По сторонам взгляд. Забываю, что можно поворачивать голову, однако знаю, что дверь закрыта, нашептывает мне по ниточкам, маленькими колокольчиками пространство.

Дождаться бы рассветающего горизонта сегодня, двухцветности. Тяжелый пепельный Синий, превращающийся в белесые массы, притягивает внимание.

И больше не перегружать систему безопасности, потерять ложную бдительность, на которую так часто полагаются, не зная, как маневрировать в междуречье.

Шрамов достаточно. хватит.

утро

я перебирал моменты, и музыка в малчивалась победно. атмосфера. ее ничего не изменит.

утро обыграло тенистые роли, я в белом сегодня, зима до сих пор, но скоро, скоро зальются улицы сыростью.

письма я вручу все лично, глазами пытаюсь обогнуть тупики, свет просочится сквозь риторичность.





Андрей Костинский

Харьков

Запах травы

Догадаться о том, что за забором двора
есть иной, овосторженный мир,
моим детским мечтам было просто, легко.

Но сейчас всё больше всё меньше времени
на сны о том далёком рассвете вечности.

Одуванчиков взрыв на лужайке
происходил по моему желанию.
Его разлетающиеся пушинки пригвозжали
к забору зазевавшихся мух, стрекоз, шмелей,
сохнувшие покрывала.

Затем я вывольнял крылатых и освобожденные
долго благо дарили мне кто чем.

А под по к рыв алом оставались дыры,
через которые я видел Зазаборье.
И я залепливал эти щели суглинком,
чтобы догадываться дальше о мире,
который за ...



Я измучил тебя
стихами тиха́ми ўхами.
Я забрал у тебя грамм жизни изни.
Я украл у тебя сны есны весны.
Ты (со)мною всё
забудешь. а будешь? (будешь).

Я себя
проклинал роклинал рокли́на́ инá
Но не знал, где забы́тья колодец.
Эхом падая вниз,
я искал его
по отражению дна.





Возвращался один.
Через всвет.
Меня ждал Небосводец.



Сок персика, вытекающий между пальцами
сжатой в кулак руки, шипит на камне солнца.
Ветер слизывает капли. Кулак разжимается.
Из выроненной косточки вырастает и тает
Кайсберг. Наткнувшись на него, Садовник...

Неважно!

Песок, заклинив механизмы Голема,
созданного поэзкизу черепа-у-подножия,
доктором молчания и созвучия,
запомнил междубиение сердца и создал
бархан-пирамиду-лунку.

Тише!...биение косточки...



На окнах палаты наросты льда
гниют под солнечным операционным светом.

Каталка с поломанным левым подлокотником
ждёт девушку со сломанной душой.

На онкобольшого смотрят так,
будто ждут совета.

Никого не раздражает ржавый свет
в смерт.на.метр. душевой.

На лестничной площадке бессмертные
временем курят.

Меж оконными рамами –
дохлые мухи и от шприца игла.
Сколько же надо каждому дури и дури,
чтобы и эта и эта и эта жизнь не прошла?...





Вычерпай ночь из моей души.
Такая дрянь, понимаешь, будто
Бог уснул в накануне-творенной тиши
и не спешит высветлить первое утро.

В этой ночи у месяца еще ровный клинок.
Но будет изогнут, чтобы солнце вырезать.
Утро придёт. Просочится кровь-вино –
горизонтный не сдержит жгут –
на землю с запахом кирзовым.

Но эта ночь для меня – вечна.
И не слушай меня – просьбу мою, невольно-внезапную.
Первый солнечный луч – бритва-блесна.
Вычерпай! Я выбрал одна из двух наказаннее.

Тот погибнет, кто выхватит взгляд мой усталый, устылый.
Не смотри...Только не ты. Только не ты. Не т...
Ночь дочерпай, закрыв в ней же ночью глаза. «Спи, милый».
Небо утром впервые до ночи застынет...



Всё реже сны. Решёточней земля
и небо, сдавливающие над огнём
самосудилища всей жизни, – в ней был я.
И слышу шёпот – обо мне = о нём.

Он-я был грешен-праведен и знал
скорее меньше, чем узнать хотел.
Мир создавал. И с миром шёл до дна
одним из первых ассатворных тел.

Алкал и жаждал чаще, чем один
из них двоих. И верил – Любовь Зла
сильней Любви Добра, когда входил
в круг очертанья слепи добела.

Всё реже жизнь...





Я был третьим. И не был. И был ли кем-либо вообще?
Ты сердце моё в руках переключивала без перчаток,
лаской вынув его из рёбер, как огонь из пещер,
что был нужен больше, чем просто чадок.

Ночные бессонницы, сладкие, как пахлава,
тянулись за прикосновением звуков к губам и молчанию.
И как громко, покинув нас, умирали слова, слова, слова,
как цивилизации в Маугли одичалом.

Тебе спать мешали стенные часы
в моей оковченной комнате,
Хотя между нами, улыбаясь беззубо «Сы-ы-ы-ыр»,
месяц висел над двумя кварталами инкогнито.

И когда я ждал твой сонно потягивающийся голос поутру,
замирал мир тетрисом многоэтажек и звездой тет-а-тет на излёте,
первый солнечный луч целовал твою раскрытую грудь,
словно мёд выбирая в соте.

Я стоял над тобой, когда ты дремала. Берёг
твои сны и радуг каждый цвет в пятигранном футляре.
Я был третий? Почётней – один из трёх.
А цвета человечились – жёлчный, фиолетовый, ярый...

В эти минуты, когда рассветало и в зеркалах
становились отраженьями тени, тени, тени –
с моим бьющимся сердцем в руках ты по-детски спала,
безразлична к тому, что я стал одним из твоих отражений...



Мало света. Из мебели – кресло и стены.
И расшатывающаяся под потолком луна, задетая головой.
Ночь укутала дом одеялом-пленом. Такие плены
раздают не всем. Только тому, кто в сговоре с ИНОЙ.
Её глаза растворяют время настезь,
на стежки суеты распускают пальцы, пахнущие дождём.
И свободы нет больше, чем в этой ИНОЙ власти.
Нет желаннее плена, чем эти мгновенья в ИНОМ.



Анна Минакова

Харьков



В тех краях, где мы были с тобой,
слышен клёкот земли голубой,
слышен посвист растущего клёна.
И когда нас возьмут холода,
не заснём, а вернёмся туда,
несомненно и определённо.

Если влажные сны торопить,
то любимой земли не испить.
Кровоточит, но светится ранка.
Там прилипчивый сахар песка
мне понятен, и глина близка.
Или я не вполне чужестранка?

Это нам, дуракам, подают
неумытых ботинок уют,
платья лёгкие, птичьи манишки,
и зелёновый щёкот травы,
и полуденный гул головы,
и поэтов юродивых книжки.

Я к тому завожу эту речь,
что уже не обнять, не сберечь
тех, кто райской напился водицы.
Но не будем, возлюбленный че,
друг у друга рыдать на плече,
ибо это ли нам пригодится.

Друг печальный, не нам ли пора
чёрный снег выметать со двора
и глотать не вершки, а корни?
Чтобы что-то в нутро потекло,
обращая земное тепло
в неземное какое горенье.





Словно в бурой воде еле-проблеск худого весла,
ты маячишь и брезжишь, как солнышко в бурой воде.
Погляди на меня. Я тебе молочко принесла.
В этих бедных краях потеплело. Теплеет везде,

где случаемся; снег утекает, который зимой.
Появись в полумгле, озаряя древесную дверь,
и фойе, и ещё коридоры, и воздух немой.
Всё забуду ли? всё ли запомню ли: всё, что теперь.

А пшеничные волосы, что ветерок ворошил?
А глаза голубые-такие-родные-твои?
Я бы всё записала – но кто это свет потушил?
А писать в темноте мне не выстачит мужества.
И ничего или плохо пишу. Значит – день допоём,
и живого тебя не укрою я в слове живом.
И недолгая память подышит на имя твоё,
как на зеркальце мутное. Не оботрёт рукавом.



облака словно сны стеклодува
не устанут живыми казаться
я увижу тебя молодого
и земли перестану касаться

рано-рано придётся проснуться
и лететь как летит голубица
но как будто бы не дотянуться
не упиться и не полюбиться

и как будто бы неотделимы
неужель отделить мы не вправе
целый мир растворимого дыма
от любви от сияющей яви

и зачем только сердце листаешь
всё равно не найдёшь не ответишь
ты останешься или растаешь
отвернёшься и сам не заметишь



но вокруг небесаobeliski
без оглядки плывут без опаски
но сейчас ты весёлый и близкий
и на клумбах анютины глазки

то ли места себе не находят,
то ли вовсе во сне и пареньи
и сирень из-за дома выходит
и купаются люди в сирени



Мне в детстве твоём, словно в детстве своём,
знаком каждый дом, уголок, водоём,
и смех голубиный, и шум тополиный,
и белых небес голубой окоём.

Как будто бы помню картинки твои,
ботинки твои и пластинки твои,
твой дом у железной – как сердце – дороги,
следы, тайники, паутинки твои.

В далёкую память как тополь вращён,
с лихвой одарён и заране прощён,
ты смотришь пронзительно и близоруко
оттуда, где мы не знакомы ещё,

туда, где уже улыбаешься мне,
и где наяву веселей, чем во сне,
где ты подаешь мне пальто так несмело,
как падает на спину бережный снег.

А после – разлук удушающий зной,
угар торфяной и оскал ледяной.
Ты видишь, беда наплывает, как туча!
Пусть не случится с тобой и со мной.

И я возвращаюсь и снова стою,
где красят скамью и поют соловью,
где ты еще маленький и одинокий,
и гладишь трехцветную кошку свою.



И если среди беспокойных теней
какая-нибудь подкрадется ко мне
недобрая неотвратимая правда –
пусть я ничего не узнаю о ней.



Я буду в этот день твоя или никто,
любимая или заплаканная насмерть.
Я кутаюсь, ряжусь в дырявое пальто,
и спутники мои – маразм, озноб и насморк.
Дыра в моей груди ещё не зажила.
Одним тобой была и буду уводима.
Я без тебя пуста, темна и тяжела,
с тобою – весела, светла, непобедима.
Побудь со мной ещё, ещё-ещё-ещё –
до самого темна, заката золотого,
до самого светла. Когда предъявят счёт,
я буду ко всему практически готова.
И от меня себя отвадить не берись –
не хватит ни ума, ни холода, ни силы.
Смотри, мои слова по свету разбрелись
рассказывать о том, как я тебя любила.



Отстегни, как простой поясок,
всё, что стиснуло, переплело:
хлам стола, ночника туесок,
ворс дивана, глухое стекло.
Помести себя в свет-полусвет
и дрожанье вагонных колёс,
где понятного времени нет,
лишь небес разливной купорос,

лишь последняя летняя дрожь
как кораблик дрейфует внутри.
Что узнаешь ещё, разберёшь –
называй, отпускай, говори:
то заплечного моря глоток,
подзатыльного сна лоскуток,



наползающей тучищи тень
и дождя даровой кипяток.

Только — голосом имя поддень,
потаённое имя того,
кто стоит у плеча твоего
и спасает тебя по сей день —
сразу скучная поступь твоя
станет и весела, и легка,
и подумаешь: это ли я?
и увидишь: плывут облака.



Странное помнится: худенек, угловат,
в чёрном костюме, маленький — помнится.
Лампочка гаснет, сколько там киловатт,
и растворяются профиля поллица.

Из коридоров тёмных, конфетных снов
тоненьким голосом детство поёт, поёт.
Тот ли ты, мальчик? Мальчик настолько нов,
что непонятно, как его узнаёт

девочка. И говорит, закусив губу:
кто бы ты ни был нынче — побудь со мной.
...Чёрные кудри косо лежат на лбу.
И свитерок, на молнии, шерстяной.



у Александра Князева смычок
сломался посреди концерта Шумана
и замер на карнизе паучок
и все-таки не все еще придумано
не выстроено в стройный звукоряд
и князев взгляд поймаю не нарочно я
в котором слезы темные горят
и вырастают сосны придорожные
и голубая бьётся стрекоза
и музыкант за все еще расплатится
когда его стократная слеза
виолончели выльется на платянце



и теплых струн тягучие лучи
летят во мраке угольном как молнии
и чуть скрипят в оркестре скрипачи
как лепестки фиалки-филармонии



Меня встречает у порога
аллей берёзовый конвой
и заражает понемногу
своей болезнью лучевой.

И луч проходит, как иголка,
и багровеют на ветру
моя сиротская футболка
и листья, близкие к костру.

Ещё подкожные потёмки
меня не мучат засветло.
И полосатые котёнки
усаами тычутся в стекло.

Возьмёшь у сердца обещанье,
как будто всё и навсегда,
и тут же чёрное прощанье
течёт, как мёртвая вода.

Не обещай меня лелеять,
не обещай меня... пока
я, как безлистая аллея,
смотрю сквозь пальцы в облака,

пока мне выправят походку,
пока мне «вольно» разрешат,
пока мою худую лодку
заселит племя лягушат.



Туча, отмерь небесам
сколько не жалко дождя.
Туча, отмерь небесам,
то, что забыто совсем.



Слева – лесочек, лесок.
Справа – просторно гулять.
Серый песочек, песок.
Грустно следы оставлять.

Красная клюква, расти,
будто бы эритроцит.
В скудной куличьей горсти,
в коликах рыжих болот.

Вспомнишь январскую дрожь,
лестницу в эхо зимы,
что ты впотьмах разберёшь,
взявши у Бога займы.

Думаю наедине.
Камень не падает с плеч.
Будешь ли плакать о мне?
Лучше не надо, не плачь.



Может, лучше и вовсе не жить,
чем тебя день за днём обижать,
вместо чтобы теплом окружить,
к большеглазому сердцу прижать.

Мне кивают кусты, мне дома,
мне летучие гуси кричат.
Что схожу и схожу я с ума,
и скорбям моим край не почат –

вспоминать тихокрылый наряд,
что дрожал на тебе, как листва.
Неужели ещё говорят,
полыхают в пространстве слова,

что бурлили и били ключом?
Грустный день, отомри и звени!
Вот и клён говорит: ну зачем!
Вот и я говорю: извини.



...И поезда нахлынут, гулки,
как ночь в распахнутом окне,
у них вагоны — что шкатулки,
и ничего не стоит мне

узнать, какие там стаканы,
гранёный свет, горчащий стук,
какие быстрые бурьяны
у ветра вырвались из рук,

узнать себя в отёкшем свете,
где всякий сон нерастворим:
на лбу моём, как на планете,
ещё отсвечивает Крым.

И разве кто придёт на помощь,
тихонько на руки возьмёт?
Скажи — ты помнишь? помнишь? помнишь —
домашний хлеб, гречишный мёд...

Ты можжевеловые ветки
тогда подбрасывал в костёр.
И надрывался ветер едкий,
пока лицо твоё не стёр.

Богдан Ант
Харьков

На добраніч

Цей світ ізнов не кращий зі світів,
Невтомний мій і невсипущий Отче.
Благаю свято: інший присвяти
Не Дню Своєму, а спокійній Ночі.

Спочинь, і хай насниться віщій сон:
Глибини вод і сонячна доріжка,



Ефірний легіт, найсвітліший сонм...
Я ж почергую біля Твого ліжка.

Аж поки й сам не сплющу в самоті
Повіки у чеканні слів «Спочатку...»
Цей світ ізнов не кращий зі світів,
І я не кращий син у Тебе, Батьку.

Вітер

Вітер пилом сипле в вікно –
Повно в очах і в роті.
Він мені радий все одно –
Світ норавливий навпроти.

Він, мов щеня, приймає за гру
Мій дратівливий гумор.
Я його ніжно за холку беру:
Досить і глуму, і суму.

Тикається у тепле й м'яке
Носом вогким і холодним.
Ти таке в мене, щеню, таке...
Тільки голодне й безродне.

Ось покришу тобі хліб в молоко –
Як тобі це причастя? –
Й разом віднині й назавжди, спокон
Нашого куцого щастя.

Якось повиведу з тебе бліх,
Ти мені рани залижеш.
Виростеш в мене знатнішим з усіх,
Навіть такий-от рижий.

І на могилі, друже, моїй
Скиглитимеш до скону.
Буде нам пухом тепло обійм –
Пильного вітру лоно.

Заповіт

Усе написане благословлю,
Поставлю свічку перед аналоєм,



З любов'ю присвятивши солов'ю-
Розбійнику все те, що я накоїв.

Хай проспівас, наче молитви,
Над тілом, знятим зі хреста зухвальства
На полотно звичайної трави,
Цю епітафію моя лукава паства,

Збере до купи весь той хмиз жалоб,
Довкола нього сяде і підпале –
Зігріє прірву душ – а то, було б,
Помолиться, та щиро й незухвало.

Покоїтимусь на тому одрі
Й писатиму цей вірш, а теплий попіл
Удобрить ґрунт, деінде на горі
Розвіє димом чийсь порожній клопіт...

Хай буде все так точно, як сказав,
Бо повернусь і перевірю тайно.
Я ще прийду – як сонце і гроза,
Щоб написати траву, звичайну.

Варя Перцева *Одесса*

Глаза

Напилась из глаз твоих в хлам.
Холмы, фонарь, кружево года.
Волокнами солнце лучит твой храм
аналоя во злате, паутины у свода.

Поцелуй. В колонках волны Битлов.
За плечи обнял кистепёрую душу –
сетью глаз твоих начат отлов
кессонно дышать на суше.

Спотыкаюсь во тьме; жизнь – правда?
Вдруг вымысел? Ловко в сценарии роли





Ты – вишня секретного сада;
мы невозможны, делением на нолик.

Умножь весну на бесконечность,
втиснись меж веток, следуй за мной,
презри «навсегда», прими времяточность.
Не пропадай... Шелести у щеки листвою.

Будь хотя бы во сне, бестелесной тенью
нас крестили пролёты лестничных клеток.
полетим? Цепляй крылья в заспиньи –
держи отсердечный ключ, сделай слепок.

СпасиБо за чудеса

Ни слова не говори; так больно...
Замолчи, не нужно, прошу...
Сердце твоё истерто; засально
не шути, захочу – раскрошу.
Тень улыбки, глаза, влага рук.
Ржавчиной солнца меж прядей
опалает огнистой луны круг
брови на лбу (семь пядей).
Как письмо почерком быстрым,
без марки, адреса и конверта –
душа в тебя залетает мыслью;
не страдаешь ведь, юный Вертер?
Знаю. Догадываюсь. Всё равно.
Во сне зеркало улыбалось устало
(я тогда поняла – с петель со.р.ва.но).
Что? Когда? – интересовало мало
Отражения взмылили зимнюю пасмурь
амальгамно-хрупкой листвою.
Проснулась. Шторы треплет вихрь.
Крылат ли вздох ли, зов ли твой?
Перекинь пару фраз, Грей –
схвачу на лету коммунальный сон
из сказки алой; не жги – грей!
Нанизал на меня этажи твой Дом
терном, колючками по запястью
сухим плутоновым холодо-льдом.
С фонарём отшельник темнеющей масти
противится току резистором Ом.
Я продлеваю прощанье на жизнь
до новой негаданной встречи.



На горизонтах ненаших отчизн
брег далёкий следами отмечен...
Я умолкаю... Цветочною выдумкой
расколочу твой кисельный покой...

нас нет

Никогда у сна не проси
присутствия, кого нет
у линии жизни – его цвет
пульсирует проводком-
нитью вокруг оси...
с каждым рассветом скорее...
руки на холоде занемели...
Ты всё мотаешься на катушку
МАГнитной плёночкой, как браслет,
по дружески целуешь в макушку
и шёпот доносится: нет нас...
нас нет...

Невидимкой ли в волосах,
тёмным ангелом с левоплечия –
разговор неначавшийся вечен
ни о чём и о блеске глаз...
Оплавая горит свечка...
кляксами воска к бумаге...
Ты прячешься где-то рядом?
В сердца пустынных песках?
ветром рождённых барханах?
одиноким кладбищем оградой
вновь меня посещаешь
(утро-вечер-стрела).
Сеятель,
мне печали свои чаешь –
я-юла-изменчивость да лукавость –
на двоих сколько осталось?
День один-два.
Волчок. Остановка когда – неизвестно.
Очерёдность? последняя ли? Тесно.
Тихо у самого уха
ветер-голос – стеклянная шалость
шепнёт могильно и глухо: нас нет...
нет нас...





в душе выжигает огни
ни крем не спасет ни зонтик
ни искусство кроенья заплат
я сама себе ад
я сама себе рай
наушно голос поёт: нас нет...
нет нас...
пальцы в рот и свисти!
Что есть силы слёз и нот
полезных несыгранных нот
нот нет звук нет нот нас нет нет нас
пой и знай...
я с тобой
наш поезд давно в огне
нет нас нас нет

прислушайся!

прислушайся
ни ветра-лезвия свист
подзаборно душа забытая стонет
ни калитки скрипнувшей писк
сгиб.хрип.мёрз.иной её не тронет
прислушайся
ни удары града о стёкла
похорон сердца под оперу Tosca
не разбавила ночь утро-блекло
стук-скрёб в груди гробовую доску
попробуй на вкус
ни моря нагубная соль
кровь омывала нам лица
тела наши твердая кремень
одежда из лёгкого ситца
попробуй на вкус... После
всмотришь
что видишь? Венец сивой мути?
Кругом звёзд ледяного чела
мы – капли навстречной ртути
растяпа-луна SOSнебу лила
нетрезвое, чтобы наощупь
прошлось коридором ночи
выровняв шаткую поступь
тучи. Тепло? небосвод обесточен
но слышится голос...





прислушайся
шаг под откос? Распался на глыбы торос

Беги!

Да быстрее отсюда –
там тина... Трясина
затянет, предаст
тут каждый из двух – Иуда.
Для каждого ты – лишь балласт.
Трасса укажет раз-вилкой
наколет забьет лопастями
вертопрахий -лёт новостями
в сердце – начинка-опилки
время
кровь смешает с вином
часомерной рукой ловкой.

А может? при-кладом? вин-товкой?
Забьёт. Раздаст нищим поровну
пригоршни
ракушек, песка, музыки soul/ska
в реки Одиноки забытой гавани
утопленик-катер в иловом саване
демон-стри-ру-ет ржавый оскал;
он, как и ты, один-кносок –
не достучать-ся;
прицелы направлю на твой Острог
остаться. Рядом остаться.
Не слушай меня. Беги!

семь

лили ливни лилии облаков
кораблям нипочем ватерлинии
7 дней вбиты в стол пусяков
7 гвоздей небеса обессилили

на глади воды от капель печати
перчатки стирают с ботинок песок
солнца глаз твоих выжигают сетчатку
ничего, что поддождно взмок



зашуршала оберткой молния
лопнул надутый пакет-гром
теперь моя роль не сольная
ртути слёзы по плёнке окон

7 дней отметками в дневнике
7 лепестков-полулуний улыбки
открой ладоши весне во сне
всё оценили. прошел сезон скидки

Владимир Брюгген Харьков



С какими-то словами
Легче день прожить;
Какими-то словами –
Ночь умерить;
И ни о чем
Не надобно тужить,
Когда еще способен
Верить.



Літературна праця – самозасліплення, яке робить зрячим.



Порив до оновлення нерідко зводиться до оновлення пориву.



Конструкція людського тіла досконала для всіх розташованих у ньому органів і центрів життєдіяльності. А поганий настрій і незручна обстановка здатні не лише збаламутити, а й розбалансувати цю природну гармонію, яка є найяскравішим проявом і підтвердженням свого Божественного походження.

4 жовтня 2011 р. Біля джерела.



Когда приходит мысль в лесу,
Ее из пальца не сосу.
Трава, цветы, деревьев рать...
Есть что – и из чего – сосать.
Нет, мысль из пальца не сосу.
Как пчелы, взяток свой несусу.
5.Х.11. На поляне.



Письменник – це людина, яка все здатна зрозуміти без слів.



Сон відпустить, а смерть забере.



Батько ніколи не скаржився. Мовчав до останнього. І мені так треба.



Я достатньо багато зазираю (підглядаю) у чужі життя, щоб ними більше не цікавитися.



Провалився в трясовиння, тільки уявиш, що хтось «допоможе» або «врятує».



О ні, ноосфера Вернадського – не вигадка, не фантазія, а найдивовижніша й живуча реальність. Ефір сповнений незримих слів і безвісних зітхань. А цієї миті мене осиним роєм переслідують слова Ніцше.
На велосипеді.



Дубы – свидетели немые.
Под ними прячемся не мы ли?
В лесу.



Вільно говорити – вільно чинити, інакше й говорити не варто.



Ніцше хотів – та не міг – вільно чинити. Частково тому, що з'їхав з глузду, частково тому, що боявся.



Я не кажу, що тим, хто вільно чинить, буває краще.
Скорше навпаки. І людям ще важче управлятися зі своєю «свободою», і нечасто можуть її подовжити, і вже напевне за «повної свободи» із Ніцше не вийшло би того, що вийшло.
Фокус ще й у тому, що реальна свобода майже ніколи не обходиться без нової форми поневолення й залежності – чи то від людей, чи то від обставин.



Блаженне мовчання, яке народжує розуміння, яке народжується із розуміння.
Блаженний той, хто вміє мовчати.
Блаженний, кому є про що і з ким мовчати.



Ти ж викидаєш сміття, анітрохи про це не жалкуючи?
Чому ж не відкидати людське сміття, що не має жодної ціни, жодного значення?



Уже й закоханість ніяка не потрібна, однак любити — необхідно.





Зараз я розумію, як легко сплутати дієслова «ніжитися» й «помирати».



Людина може опинитися в полоні своєї ідеї.
Та розумна людина ніколи не опиниться в полоні чужих ідей.



Любовне ставлення знає різні прояви, набирає різних форм, та не повинно перетворюватися на танці навколо порожнього місця.



Та навіщо ж ти хотів (був готовий!) померти через любов?
Та ж заради любові (будь-якої – незграбної, сліпої, босої, дурної)
необхідно тільки жити!



З осміхом переможця завершує твої сумніви, боріння, вагання єдина
відповідь: не знаю.



Запросто можна зненавидіти слова, у яких потонуло життя.
(«Молчите, прокляте книги! Я вас не писав нікогда!» – О. Блок).



...А вчися жити в просторі, докіль не звузився він до віка труни.
На велосипеді.



Жінки відчувають душевну компоненту любові набагато краще, ніж
духовну. Адже остання більше пов'язана з абстрактним мисленням, а
його жінки нечасто вміють поцінувати або взяти до уваги.



Немає слів, «непритаманних» для мене. А от уже ні одного непритаманного для мене кроку не ступлю!



Коли «щільне думання», то й щільний стиль.
Коли немає думання, то й стилю ніякого.
Читаючи Шопенгауера.



Життя закоротке для озирання.



Безглузде життя коротше найкоротшого.
Біля джерела.



Якщо люблять людину, то змін у ній не бачать, не помічають.



Не пропустить чого-нибудь старался,
А пропустить чого-нибудь боявся.
Но в общем-то, чого боявся,
О том бедняга и старался.



Філософи гарні своєю в'їдливістю (Шопенгауер, Ніцше) і набридають своїми схемами.



Найдрібніші приводи викликають великі наслідки.
В маленького офіцера була маленька зарплата, і він став Наполеоном.
За хвірткою майнув червоний плащ Люби Менделєєвої, і Блок написав «Скіфи».



Комфорт викликає потребу в дискомфорті.



Жодний комфортний стан не перетворюється на застиглий.



Моя думка перетікає у формулювання, підготовлені роками роздумів, і хвороблива (в окремих випадках) реакція деяких людей не має ані підстав, ні значення.



Розкидатися емоціями вже не може; словами — будь ласка. А вони, такі-сякі контрабандисти, тягнуть емоції за собою.



Ранок диктує неминучу кількість слів.



«От домашнього вора нет запора...» А смерть – найбільший злодій. Вона краде все й одразу.



Не спеші в об'яття болей –
Труд и холод много нам полезней.



Вагітність життям народжує мистецтво.



Ти не виживеш без уміння гасити й нищити зайві подразники.



Стол противен.
Стол – противень для статей.
Сажаю противни в прогоревшую печку души.



День розколюється, як горіх; іноді він порожній, та частіше знаходиш зерно.



Мислення – система надзвичайно гнучка, багатшарова, багатоваріантна, з незліченними перехресними зв'язками. Мислення навряд чи здатне цілком запанувати в світі емоцій, та воно, безумовно, допомагає їх організувати, контролювати, балансувати.



Не втуляйся в жодні свої давні, застигли форми.



Ніщше рухався у несвідомому відчаї, Шопенгауер — у свідомому.



«Никогда не теряйте отчаяния...» (Ахматова).



Та чи є в тебе якийсь інше життя, крім слів?..
Ну, є, та воно нецікаве.



Будь-якій дії надавай значення (або форму) новизни.



Думка – одна рисочка в кардіограмі твого серця.





Злягання тіла не з іншими тілами, а зі середовищем, з атмосферою, з місячним сяйвом.



Що сказати про минулі життя?
Вони перетворилися на тире між датами народження й смерті.
От цією «абеткою Морзе» записана історія людства.



Зайві дії – які не скеровані на прямий результат. Але тоді це й не дії,
а – догадки, передбачення, гіпотези.



Зазирає за обрій, зазирає: що там? Що там? Так і не побачив.



На весь вік розпачу не стане.



«Вічне кохання» можна пережити за лічені дні; а от людину (якщо є людина!) переживаєш усе життя.



І нескінченна фантазія має стадію пересичення.



Нове відчуваєш завжди. Міняється лише ступінь його небезпеки.



Себе не треба зраджувати ні з ким.



З таким же шалом, з яким нищив усі перешкоди перед собою, зводив і нездоланну перепону за собою – щоб не міг відступити ні на крок, щоб не було повернення назад!

А в основі цієї перепони – друг.



Життя тонке, як талія оси.



Свідомо відмовся від несвідомого*). Думаю, що й Ніцше погодився б з таким формулюванням.

**) Воно все одно не зникне, але посяде своє, строго відведене природою місце. Не дозволяй несвідомому запанувати в собі.*



Несвідоме не знає самообмеження.



Давно осягнуті істини самооновлюються, самовідтворюються.
Твій рух життям подовжиться, якщо навіть ретельно виконана праця залишатиме в тебе легке невдоволення.



Якщо мій досвід не огортає мене, не підтримує, не просвітлює, то навіщо він мені, той досвід?



Слова амбівалентні; вони поєднують функцію розкріпачення і функцію поневолення. Вони повсякчасно ставлять тебе між молотом і ковадлом.



Функція руху визначається передусім природними рамками.
А рух від зіткнення з людьми – нікчемний порівняно з першим. Він визначається рамками хибними, ламаними, він здатний лише порушити (зруйнувати) природний рух.



Чудове презирство не дам нікому похитнути.



Очікування хвороби вже є хвороба.
Неочікування нічого – це просто життя. Воно природно зустрічає несподіване.

Герман Титов *Харьков*

Из цикла «Харьковское Небо»

Благовещенский собор

Над переулков тьмой пристенной,
Где пыль и трёх столетий сор,
Громадой пёстрой и священной
Встал Благовещенский собор.

От центра повернёшь направо,
И, под горой, невдалеке,
Ждёт каменный сюжет в оправе
Туч, повторившихся в реке.

Не брезгуя соседством рынка,
Где изобильна суета,
Небес молочных полной крынкой
Он жажду утолит всегда.



Слагая свещный жар в приделе,
В лучах плывёт бетонный кров
И вязь коринфских капителей
Мерцает по углам столпов,

Сухие лики чудотворцев,
Блаженных рак золотой оков,
Орнаменты иконоборцев,
И фрески рубежа веков.

Могольской Агры сень резная,
Славянской готики заря,
Блик, размывающий по краю
Каррарский мрамор алтаря.

За красной тканью, в век распада,
Дни словно семечки в куле,
Ссыпались. Был конюшной, складом,
Но, Божьей волей, уцелел.

Благовествует колокольной
Имперской Византии перст.
Здесь, после всякой драмы дольней,
На место возвращался крест.

И горевать уже не нужно,
Всё будет только так и впредь:
Собор стоит на вечной службе,
Где смертным – ввек не умереть.

Начала и Престолы ближе,
И тьма сползает вниз чехлом,
Когда митрополит недвижно
На ветхом коврике с орлом

Стоит, и всё прозрачней дали,
И прихожане видят свет
Любви, в которой нет печали,
Ни убыли, ни боли нет.



Покровский собор

Сомкнул моллюск глубинной жизни створки,
Но возрастает жемчуг в тесноте.
Ты скажешь: так, на невысокой горке,
Казацкий храм в узорной простоте

Как очевидность преподносит чудо
Работы Духа в тусклой толще лет,
Бессмертия священные сосуды,
Небес и тверди каменный завет.

Давным-давно над лебедой оврага,
Среди чащоб разбойных и глухих,
Монахи поселились и отвага
Молитвенная – охраняла их.

Из длинных кирпичей, сменивших доски,
Отстроен был и освящён с тех пор
Седым митрополитом Белгородским
Аврамием – для города собор.

Когда и как- уже забылось это –
На двадцать три сажени встал легко
Покровский храм, трёхчастным силуэтом
Касаясь слобожанских облаков.

По граням стен ветвился ввысь орнамент
Карнизов, ниш в гризайле фонарей,
И арабесок в простодушной раме
Соединённых ритмом галерей.

И колокольни башня крепостная
Излучину реки и пыль дорог
Оберегала, поимённо зная
Торговый глинобитный городок.

Но шли века, вослед возам к разгрузке,
И расцветал сей город как сады
Коллегиума при Бурсацком спуске,
Силлабики его Сковороды.

И время суетливое не властно
С тех пор как возглашают ектенью



И голуби курлычут доброгласно
На монастырском дворике, в краю

Где для души условны все границы,
Где бьётся сердце харьковских дворов,
И небо домотканное струится
Как чистый Богордицын Покров.

Александровская колокольня Успенского собора

Сюжет классицизма похож, наверно,
Совсем не на древний и ветхий Рим, –
На хор приходских аксиом, на вечность,
Чей внутренний пафос неотделим

От вех проходных городских пейзажей,
Наёмной рекламы и сменных толп,
И всех бельэтажей белёных краше
Собора Успенского серый столп.

Оставив барочный надрыв овалов
И мажорков горизонтальный строй,
Отталкиваясь от земли усталой,
Он вносит в пространство масштаб иной,

Взрастая, где лишь небоскрёб – по росту
Мог быть для него. Небоскрёба нет.
А Царство Небесное дастся просто
Как вновь обретённого солнца свет

На вновь укреплённом кресте Успенском,
Как детский конструктор, достигший туч,
Как детская вера во всё что веско,
Всегда высоко и тепло как луч.

Напротив – Кваренги летучий циркуль
Присутственных Мест полукруг тугой
Чертил. Но подобно порою цирку
Течение времени – смысл другой





Сменяется третьим. Итак, над сквером
Стоит колокольня, опять одна –
Чудес, приоткрывшихся смертным, мера,
За долгой и хладной зимой – весна.

Лимонов ли, Хлебников иль Газданов
В Москву ли, в Париж ли – везли с собой
Фронтон её и колонн слоганы,
Часов её, ставший судьбою, бой.

Ивана Великого выше ростом,
Побед Александровых нотный знак,
Она хороша как бессмертья сноски
И ориентир привозных зевак.

Стоит колокольня – и вновь, как прежде,
Небесной – земная коснётся твердь.
Сюжет классицизма сродни надежде:
Успение – не означает смерть.

Озерянская церковь на Холодной горе

На семи продувных ветрах,
На кону Холодной горы,
Монастырской церкви сестра,
Хорошея без мишуры,

Как исконный кирпичный лад,
Дивный клад небесных даров
В византийском строе аркад
Над листвою окрестных дворов,

Там где спину горбил амбар,
И крестьян ссыпалось зерно –
Невечернего света дар
Сберегает. Знаешь, давно

Озерянской иконы шлях
Отмечал часовни предел,
Прорастая в тех тропарях
Чудесами выпренных дел.



А теперь из центра, сквозь даль
Всех дорог истёртых и лет,
В зной и холод виден всегда
Церкви праздничный силуэт,

Третий Рим губернских затей,
Александра Третьего сон,
Форэскиз столичных идей.
Воплощённый в камне закон

Благодати и высоты,
Вечных смыслов – вечной любви,
Где всегда обретаешь ты
Всё что свыше благословит

Непритворный радостный смысл,
Что диктует сердцу судьба.
Полукруглой апсиды мыс
И четыре мощных столпа,

Архаичной кладки декор,
Колокольни ярусный строй
И сегодня радуют взор
Светотени чистой игрой.

Мимо – едут фургоны лет,
И весна цветёт по дворам.
Благодатной иконы свет
В небесах хранит этот храм.



Елена Амберова
Харьков

No matter how many obstacles you face, keep on going...

Много еще книг не прочитанных,
Песен не спетых, и не станцованных «па»,
Встреч непредвиденных, ран незалеченных
И не законченных «ма, ...»
Книг не написанных, дел не доделанных
И не увиденных стран...
Хватило бы сил на все, что не сделано,
И... исцеление ран...



Вдохновение – фильм «Спасатель»

– Я не брошу тебя! - голос ангела с неба кричал,
– Я спасу! Дотяну! Потерпи, уже скоро причал!
«Видно, умер уже...» - мысль лениво накрыла волной,
Не такую как та, что сдавила дыханье водой...

– Я не брошу тебя! – он не слышал приятнее слов...
«Видно, ангел ведет меня тропкой в мир сладостных снов...»

– Я спасатель, держитесь, мы скоро прибудем на сушу! –
Сильный голос внезапно иллюзию неба разрушил,

Спину бережно стиснули крепкие руки –
Понесли по волнам, уводя от беды и разлуки
С жизнью, с солнцем, с родными, что нежно любили,
Возвращали, хранили и жизнь безвозмездно дарили....

А откуда-то сверху послышался голос тот первый:
– Все уже позади, ты спасен, я не бросил, я – верный...



**Любовь не бывает первой,
если она настоящая, значит, она единственная...**

А.К.

Отвезешь меня к Средиземному морю,
Где небеса купаются в волне?
Там сладостна печаль, нет места горю,
И счастье разливается в вине...
Там серебрится путь по глади водной,
И звезды яркие, безмятежны и близки...
Любовь там рождена была, бездонной
Красой питая смертные ростки...
Пьянящее цветенье мандаринов
Укутает нас и благословит,
Мелькнет вдали семья играющих дельфинов,
И сердце станет целым, на двоих...



А.К.

Расскажи мне о чем-нибудь...
Чего я не знаю, но точно поверю...
Подари мне мечту из потемок уйти насовсем,
Пусть глаза твои скажут: «Люблю», а мои в ответ: «Верю»,
И за руку меня уведи, королевой, на зависть всем...
И я стану твоей – самым нужным и сладким причалом,
Я забуду всех тех, кто хотел, но не смог стать тобой...
В мире этом лишь гости, уйдем... Ведь за тем перевалом
В горизонте сокрыт дом наш истинный... Твой он и мой...



Я однолюб...
...не излечить и не исправить,
Генетика ли,
карма ли,
судьба...?
Still think of you...
...someone of us like carving
On other's destiny...
or just a trait
of past...
Я однолюб...
... и мне в сто раз больше...
И бесполезно вопрошать «За что?»...
Какая разница в том, как
тобой болею?
Язык Любви один,
...но много форм...

Инна Олейник *Харьков*

Сосчитай мне до сна

Сосчитай мне до сна. Город умер, как будто замер.
Здесь такая зима, что невольно вырастаешь в плед.
Я устала сдавать бесполезный псевдоэкзамен.
Забери меня в плен, Расскажи о другом тепле.

Расскажи, что нас ждут, что есть дом, что зима мне снится.
Расскажи, что молиться – не поздно, любить – не зря;
Что я вовсе не ноль – недоросшая единица.
Заживляй меня, мерами вымеряв, умирай.

Расскажи, что метель заметает всегда плохое;
Не уходят любимые, как в призрачный край письмо;
Что костлявая смерть – просто женщина в балахоне,
Говорящая правду о том, что ведет домой.





Расскажи, что мой бог не устал, не уснул, не умер;
Что мой мир не сломался, не рухнул, не обветшал.
Расскажи, что любовь – это то, что бывает в сумме
Двух далёких улыбок – Медведицы и Ковша.

Расскажи, что стена иллюзорна, весна взаимна,
Зеркала не нужны, голоса не всегда – мираж...
Почему не рифмуется СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ и Инна,
Когда строчка ложится под пристальный взгляд пера.

Колокольчики душ

Мы стояли на крыше, а мир засыпал внизу
Без фонтанных понтов и неоновых показух.

Зарождался час – бесменен и недвижим.

Все неважно-ненужное отложив,
Мы стояли над миром, который утешил нас.

А вокруг оживала застывшая тишина,
Заглушая брюзжанье трамваев и шум машин,
Крепдешин небес бисером порасшив.

Тишина была справа, слева, под нами, над,
Превращая весь мир в столкновение буффонад.

Ты стоял, но тебе казалось, что ты летишь
Каплей света, пронзая густую мирскую тишь.

Но когда тишина занемела, опоясав
Душу каплями света, послышались голоса:

Мир прокладывал жизнь через солнечный акведук
И звенел,
и звонил в колокольчики наших душ.





Удается

Я учусь говорить без слов и смотреть без глаз.
И на самом-то деле так легче дойти до сути.
А хромая зима лишь на малую треть бела.
Если верить церквям, то здесь каждый из нас подсуден.

Если верить соседям, то каждый из нас бандит.
Если слаженным СМИ – каждый пятый на свете лишний.
Но мне кажется, небо дает нам любовь в кредит,
А взамен просит веру в себя, и в тебя, и в ближних.

И я вижу в них свет, искру Бога внутри узнав,
Посреди пустоты и надуманного болотца.
А зима зеленеет, точнее – почти весна.
Я учусь чудесам. И, мне кажется, удастся.



А когда наступал неожиданно рецидив,
И казалось, что мир безнадежен и нелюдим,
Мои мысли сквозь сито памяти процедив,
Безусловно и неизбежно Он приходил.

Он садился и ласково гладил по волосам:
«Что ты плачешь, дурёха, я ж всё тебе прописал.
Ты не верь этим вракам великих земных писал.
Я всегда был с тобой, никогда тебя не бросал.

Они думают, я бессловесный глухой лентяй,
Что я их предаю, как родитель своё дитя.
Что я к ним равнодушен, как к кучке слепых котят.
Говорят «помоги!», только сами то не хотят.

Я пишу им стихи на асфальте седым лучом,
Досыпаю мечты им в рагу или в суп харчо.
Но они ведь считают, что это всё ни при чём.
И поэтому каждый твердит, что осирочён.

Ну а я же, я здесь... Я кричу им, кричу, кричу.
Раздаю им ключи. Правда, каждому – по ключу.
А они говорят: «Не откроешь, не по плечу».
Я учу их, лечу их, но грозное слышу «чушь!»



Я без них ведь никто, я без них ведь не всемогущ...»
Он стоит и грустит. Его взгляд одинок и жгуч.
Я Ему говорю, его просьбу срывая с губ:
«Не грусти, добрый Бог: хочешь, я тебе помогу...»

Ирина Жарикова

Харьков



Мой мир застыл, остолбенел – столбы на каждом перекрёстке.
И каждых суточных удел – небесность в крошковой извёстке.
Отчайся в дым, напейся в пыль, замёрзнуть дай в свеченьи утра,
И бей меня лучом тупым, и рассыпайся по минутам
В песке зеркал, в часах весов, в забытой, но спасённой влаге,
Закрой творенья на засов, взорви, сожги мои бумаги!
И шёпот снов, и пепел дней добавь к нечаянному чаю,
И те слова на самом дне: люблю по-прежнему, скучаю...

3D

Твой дымный мир рассветов и потерь
рассеивают палочки сандала.
Ты мне не верь, пожалуйста, не верь,
что сразу я тебя во сне узнала.
Но если есть запутанность – в дыму,
во сне, в ночи, в тумане и рассветах, –
теперь одно понятно – одному
тебе хочу рассказывать об этом!

Фонари против нас
В пыльном городе машин и шуток
Суициды весны напрасны,
Воплощенный иуда жуток,
и одет в фиолетово-красный.
Фонари против нас. Играют.
Догорают лучи проспекта.
Мы с тобою бредём по краю,



Только больше молчим про это.
Асфальтирован свет небесный.
Замурованы рифмы мыслей.
Ты в глазах мне позволь воскреснуть.
Страхи снова меня загрызли.
Отвернёшься, уйдёшь – и что же...
Это было нелепо просто.
Фонари против нас, похоже, –
Закрывают большие звёзды.

В бреду бреду

Концепция фраз недовольно понятна.
Слаба без тебя, так хотела обратно.
Но я не нужна, не нужна... как-то пусто...
Довольно прозрачна концепция чувства.

Прохладой небесной окутает полночь,
И крона луны станет ярче, понятней –
Кувшинкой в болоте сияет по полной.
Ей же так, как мне, нет дороги обратной.

Укутана сном, без тебя продолжаюсь,
Ищу тебя в шумных сплетениях улиц.
В бреду я бреду, слеповерно, смешная.
Мой мир замирает в секунде от пули.

И если себя не узнаешь в тишени,
Забудешь, как сказку, нелепые фразы,
Прости меня, просто... прошу... лишь прощенья –
За то, что забыть не посмела я сразу.

СТО – С Тобой Одним...

Ящеру́ный прицел сбит небрежным раскатом грома.
Монохромен рассвет, однотонен типаж теней.
И не надо других, ничего, никого, кроме
Того, кто размазал прошлое по стене...

Психология снов, графология скользких судеб,
Парусинные тряпки не в силах держать удар.
Но не страшно – пускай совсем ничего не будет,
Если будет твоё «держись», и ответом – «да».





В полыханьи поленьев, в граффити на тёмном небе
Знаки, звуки, иероглифы светлых чувств.
И пускай отдыхает мир в неземном нелепье,
Я молчать обо всём с тобой лишь одним хочу.



Пиши мне светлые стихи,
такие тёплые и ранние.
О том, как ночи нетихи,
о том, как небо светит гранями.

О том, как март поёт весну,
играя в клавишин сосуллек.
О том, как нет преграды сну,
когда с тобой вдвоём уснули.

Пиши сонет, пиши верлибр,
пиши простуженную прозу.
Я шла к тебе – нашла твой нимб,
он так искрился на морозе!

Пиши о том, как свет луны
пронзает вечность-полузимку.
Пиши, о том, как мы глупы,
когда стираем нас резинкой.



В холодной паутине ночи
Оставив томик светлой грусти,
Приклею солнце к небу скотчем,
Когда зима к тебе не пустит.
И разберу стихов осколки,
Не став их склеивать от жажды,
И птичий смех во мне умолкнет,
Но возродится вновь однажды.
И столько будет в гу(г)ле улиц
Минут, что станут в сердце камнем,
Когда, шатаясь и сутулясь,
Мы станем прошлым, дымным, давним.
Себя влетая между строчек,
Уснув на этой паутине,





Я знаю – мой неровный почерк
В тебе дрожанием застынет...

п/я

Мы пропитаны этой зимой –
до снежинки, до точки, до нитки.
И пути по зиме – не домой,
и в п/я замерзают открытки.
З а п/я т ы е зимы – облака
О-кругляются в точки несмело.
И беспечно снежинки в руках
превращаются в кубики мела...

Дорога

К простуженной просёлочной дороге
В халате грязном и в заплатах каменных
Не будь таким предвзятым, грубым, строгим.
Её мечты и без того изранены.
В осенней суете, в дождливых сумерках
Её прости. Благодарю за многое:
За то, что в недолеченном безумии
Она вела тебя – твоей дорогою!

Ирина Кузнецова (Полина Ланских) **Харьков**

В День Победы

*посвящается моему деду Антону Трофимовичу Пилипенко
и всем солдатам Второй Мировой...
Простите нас, живущих и не помнящих...*

Мой дед, конечно, тоже воевал.
Он выжил. Но война была пределом
для судеб многих. И её оскал –
печатью на шеренге поределой. –





Как мало их осталось среди нас
мальчишек и девчонок той эпохи.
Лишь в праздник равнодушия фугас
сменяем на скупые наши строки,

цветы, салюты, чтение стихов
и... полевая каша ветерану... –
Как стыдно... – Только к празднику готов
страны бюджет на боевых 100 граммов

расщедриться... Сдержи слезу, солдат!
Страна твоя ни в чём не виновата –
Не по карману боль твоих утрат...
А для тебя - покой ночной – награда,

чуть стихнет боль... И через столько лет
хватает пустоту во сне руками... –
Тебе ль не знать цены твоих побед,
Терпи, солдат – война щедра на память...

Как мало вас осталось среди нас, –
о той войне читавших только в книгах.
И наши дети, слушая рассказ,
геройски побеждают немцев в играх,

не веря в настоящую войну,
всецело доверяя интернету...
А ты, солдат – сегодня, наяву!
Ты жив! Ты есть! Ты празднуешь победу!

Моїм сучасникам

Вже звичкою буденною для нас
В цей день – паради, квіти, добрі справи,
Промови урочисті про запас,
На честь солдатів-переможців – слава!

Замислись на хвилинку – ти живий
сьогодні не тому, що прагнеш жити –
Хтось інший, може навіть, прадід твій
Десь кров»ю забაгрянив смужку жита.

В останню мить він землю обійняв,



Неначе нььку рідну, що чекала
додому сина... –
Аж здригнулася земля!
...В її обійми полегло чимало...

А ми – лише один єдиний день
І то, не зовсім так, як нам належить,
Слова подяки – серед теревень
про час важкий, про труднощі, про нежить...

І виступають сльози у дідів –
Колись – відважних воїнів епохи!
І погляди такі – що бракне слів
віддячити за їх життя хоч трохи...

Два травні

На диво травень видався в той рік
Таким завзятим до людської долі!
Чи може, – так здавалось тим, хто звик
За ті чотири роки жити в полі,

У бліндажах, землянках, у лісах –
Уся земля домівкою їм стала...
Гули джмелі над квітами в садах
І журавлиний клин летів над ставом.

І так було приємно на душі –
Яке життя омріяне чекало
На тих, хто в цьому травні завершив
Велику справу не заради слави

І не заради блиску орденів
І дзвону обезцінених медалей,
А задля щастя доньок і синів... –
Який сьогодні травень цей невдалий!

Гіркий – бо ветеран, немов жебрак,
Стояти в черзі змушений по кашу. –
Яка подяка... Ну навіщо ж так
Висловлювати людям вдячність нашу?

Їх мало залишилось серед нас –
Не зламаних оцим життям героїв.



Щоденно ветерани в мирний час
Готуються до ранку, мов до бою.

З байдужістю в нерівній боротьбі,
Із бюрократством і політчумою –
спокутують... На жаль, у цій біді
Не тільки їх провина – й нас с тобою...

Якби той травень повернутись міг,
І поруч знову всі, кого не стало,
І час, що залишився на війні, –
Бо одного життя, напевно, мало...

Тот день

От счастья совершенно одурев,
От радости нахлынувшей хмельные,
Солдаты не ложились на ночлег.
И, предвкушая радости земные, –

Без умолку болтала молодёжь,
А старики, глотнув слезу, курили.
Кого-то нервно колотила дрожь,
Спокойствием наполнились другие.

Не по уставу хлопец молодой
Пилотку на затылок лихо сдвинул...
Им предстоял короткий путь домой
Из долгого похода до Берлина.

Знаменосец (эхо войны)

Он плакал, глядя на остатки ног
И почему-то так хотелось к маме!..
Молоденький солдатик встать не мог,
Безногим телом прикрывая знамя.

Совсем мальчишка, только начал жить,
А тут война, а тут – такое дело...
Как ненадёжна, как непечна нить,
Соединившая с душою тело.





Смотрел на догорающий закат,
Сквозь слёзы проклиная злое небо
И так хотелось мальчику назад,
Чтоб не смогла его коснуться небыль!

...Не получила похоронку мать, –
Ведь сын её домой вернулся вскоре.
А что без ног – да разве ж это горе,
Когда возможность есть его обнять?

...Приснилось лето, речка, время жать,
От камушков – круги по водной глади.
А он во сне – пытался побежать!
– Спи! – мамина рука тихонько гладит...



Хранят
ушедших души
облака,
Баюкают ветра
колосья хлеба,
А небо
нас качает на руках,
Сплетая в нить одну
и былль и небыль.

Из сонма туч
на землю льётся дождь,
Небесным молоком питает травы.
Мы принимаем грозовую дрожь,
как чьи-то неразумные забавы.

Мы – сами дети
учим жить детей,
По сути
ничего о них не зная...
Летит сквозь мглу обитель ста морей –
Земля,
своих землян оберегая.

Хранят ушедших души
облака
И облака хранят



ушедших души
И небо,
нерождённых нас пока,
хранит
и этой связи не нарушит...

Я дочь своей земли...

*«Где родился,
там и сгодился»*

Я дочь своей земли, и не иначе!
Но как могу на верность присягать
одной стране,
предав другую, значит?!
Отец – земляк Петра, хохлушка – мать.
Один мой дед был ранен под Москвою,
Другой прошёл весь путь
и победил,
Вернулся в Украину после боя
И прожил в ней,
не осрамив седин.
А бабушка по маме – Рудакова... –
Коль всю родню границами делить,
Боюсь, что и не сыщется такого
Достойного страной любимым быть.

Я дочь своей земли. Люблю и верю:
Стране своей сгожусь какая есть –
нечистокровка...
Пережив потери,
За Родину молюсь - имею честь!



Леонид Шептовицкий *Харьков*

Форочка и ветер

Ветер тронул форточку,
И она ответно
Задрожала «форте»
В благодарность ветру.

Вот уже полвека
Это развлечение –
Форточки и ветра
Милое общение.

Лишь порой взмывает
К апогею чувство,
Если их хозяин
В комнату запустит.

Он и сам полвека
Вместе с домом прожил.
И теперь уж редко
Форточку тревожит.

Лунный свет

В небе полная луна.
Глаз прожектора спокоен.
Выше мира, выше воен
Режиссёр мистерий сна.

Завораживает светом
Псов, влюблённых и поэтов
Этот лунный беспредел.
Отраженье солнца это.
Но, как все на белом свете –
Был горяч, да...охладел.



Лунная дорожка

Снежная пороша.
Но во сне
Лунная дорожка
Снится мне.

Тёплый вечер юга.
Море...Ты...
Не стыдясь друг друга
Наготы,

Ходим, как заправский
Мореход,
Не нарушив гладкость
Чудных вод.

Простираем ручки
В свет луны...
Не смотреть бы лучше
Эти сны.


Тоже мне нашёлся –
«Стриптизёр»...
К зеркалу поплёлся
На позор.

Боже, ну и рожа –
Жизни лом...
Снежная пороша
За окном.

Розовое утро

Розовое утро – будто
Девушка в оборках кружев.
В каблучках обходит лужи
Под аккорд весенней лютни.

Розовое утро – будто
Подружились с тёплым ветром.
Что гуляет по проспекту
По-весеннему беспутно.



Розовое утро – будто
Вдруг ко мне вернулось детство.
И наивностью прелестно.
И прожитой жизнью – мудро.



Улицы стареют, как мужчины.
Вон – асфальт изрезали морщины.
От деревьев углубились тени.
У домов обшарпанные стены.
Но у улиц это поправимо –
То асфальт наложат вместо грима.
То дома оденут новой плиткой.
И они осветятся улыбкой.
На меня слукавя укоризной –
Что тут ходят за анахронизмы?!
Ладно вам, мои пятиэтажки.
Вот пойду и сделаю подтяжку!

Марина Гуртовая

Харьков



Сполохана пташка злетіла.
На кущ біля дерева сіла.
І солодко так задзвеніла
Нехитра пісенька ізнов:
 без болі,
 без жалю,
 без страху.
 Без слів,
 яких не потрібно,
 без латки
 в моєму серці
Любов розквітає грішна.
Непевна, сліпа, як хвороба.

Зажурить і стихне швидко, –



Байдужими остюками
Залишаться квітки суму,
Гірке бадилля помину
З отруєним смаком пізнання.
Усе пересіється з маком,
А потім зросте на полі.
По-новому зачервоніє,
По-новому заквітне.
 Старанно ховаючи гнізда,
 Стрибне наполохана птаха
 На згадку прихованих місць.
 І знову заллється співом,
 Бо страх, то – непрошений гість.




Загальні мапи облич,
Загальні вагони призначень, –
Наявність лихої вдачі
Як наслідок сну. Параліч.
Судоми тривкого бажання,
Мов біль, що біснує ціпок,
Стрибаючий від пробачень,
Вгамований від думок.
Довічне жіноче чекання –
Найдивовижніша річ.
Зів'ялий вінок кохання
Сухим оберемком в ніч.
І спалах за спалахом щезне
Загальної долі ество.
Отак, мабуть, греки дізнались про Золоте Руно.

Загальні риси облич,
Загальні тортури призначень.
Присутність взаємопобачень
Не надто зворушлива річ.



Забракло висновків.
Час рішень недолугих –
Не вистачає місця для парковок, –
Замало вказівок для препрошень.





Здається, що життя – це вантажівка,
затиснута
в казеннім коридорі:
кульгава, громіздка і без зворотна.

А ще, мов перевершена гарба,
Зіпсована не вимощеним шляхом,
Лоскоче черево огудженим асфальтом,
Вдихає сморід газів кольорових,
З сліпою вірою у світло світлофорів
та владну думку
прийнятих законів –
у лісі темному, блукаючи, снує.

Життя – гарба
найважчих перетворень
та вантажівка
непочатих справ,
занурених у «таємниче» завтра.

Із ви роком завчасним, бо своє
Належить кожному,
А кожен тягне ковдру,
Після шляху, що ланцюгом зіб'є.




Вечір неонових ліхтарів,
Небо кольору північних морів.
Надто повільно зникає зима.
Цвіт лазуровий –
Божа Весна.



Отравлен город ядовитой вьюгой.
Пусты дороги: мёртвая зима.
Мороз гуляет с пьяною подругой,
Воруя жизнь у каждого окна.

Зловещий день переселился в вечер.
Кураж крещенский превратился в пир.
Разлукой снежной вечер опрометчив...
Моей любви противится весь мир.

Представит страшно колыбель метели.



Тебя не видеть – сердце обмануть.
Стущённый мрак белёсою постелью,
Плитой тяжёлой отрезает путь.

Заснуть, немея от холодных простынь,
Просить у Бога глаз твоих и рук.
Свече – остыть. А мне – осилить муку,
Идти на голос твой
На млечный звук.

Михаил Красиков

Харьков



Щенком за пазухой
угрелась ревность
и спит,
покуда бодрствует
любовь.



Я вдвое старше своего отца...
Но не мудрей, конечно, не мудрее –
мудрёнее, быть может, и хитрее
сплеталась нить судьбы моей. Лица
не прятал я от хищной морды века,
но и не бил наотмашь подлеца...

Летит в лазурь серебряная ветка
с беспечностью шального огольца!



Как бомж
в вагоне метро,
появляется гений,
и сразу вокруг –
п у с т о т а.



Уже больше знакомых на тех берегах,
 чем на этих,
Но ветерок летеийский слышится
 самую малость.
Вот и пора штудировать труднейшую
 из поэтик,
с горем слагая горе и выдыхая –
 радость.

Светлана Коношенко

Чистополье, Крым

Родилась в России, в Забайкалье. В Крыму проживает с 1976 года. Пишет очерки, стихи, прозу. Публиковалась в газетах, журналах и коллективных сборниках СССР, СНГ, Украины и Крыма. Автор поэтического сборника «Эхо тишины» (1998 г. «Доля» Симферополь). Редактор-составитель поэтического ежегодника «Прекрасная Гавань» (творчество поэтов Черноморского района).

Имя

Укрomный угол в памяти моей...
Моё второе имя там живёт,
Но только много-много тысяч дней
Меня никто так больше не зовёт.

За мною имя по пятам бредёт
Сквозь чащу лет, воспоминаний лес.
Оно в душе на цыпочки встаёт,
Пытаясь дотянуться до небес.

А звук его... Так жжёт язык огня
Так тень скользит под призрачной луной,
Так замирает на исходе дня
Последний луч, сплетаясь с тишиной.

Так просят пить, спекаясь на жаре,
От жажды пересохшие уста,





Так шелестит под ветром на заре
Тростник, который дудочкой не стал.

Миндаль

Чужой страны холодные туманы,
Чужих ветров пронзительная злость...
Орешек, затерявшийся в кармане,
Был мною в землю брошен на авось.

Надеялась и я: авось привыкну,
Коль шансов нет к обратному пути...
Орешек мой, к чужой земле приникнув,
Сумел в неё корнями прорасти.

А мне – не случилось. Не приемлет даже
Моих корней чужбинная земля...
Я с нежностью ладонью тихо глажу
Шершавый, тонкий ствол миндаля.

Чужих колоколов чужие звоны
Давно отпели родину мою...
А он цветёт, шумит кудрявой кроной
И птицы средь его листья поют.


Становятся скупей мои рассветы
И тяжелей планета под пятой...
А у него – все выше к небу ветви,
Всё слаще плод в скорлупке золотой.

Вышивальщица бисером

Осияна светом законным,
От всего уже отдалена,
Вышивает женщина икону,
Бесконечной святости полна.

За стежком стежок ложится снова,
Чтобы ясный свет предугадать.
Тает россыпь бисера цветного
И нисходит Божья благодать.





В мир иной приоткрывая дверцу,
Тихо вышивает, не спешит.
Бисеринки – как осколки сердца,
Нити – словно лучики души.



Прохладней, туманней рассветы
И небо не той синевы...
Бессильно цепляется лето
За вялую зелень листвы.

Всё будет, всё будет, как прежде,
Судьба не верши поворот!...
Так в каждой травинке надежда,
Как выдох последний живёт.



Исполнен тишины
Сырой прохладный вечер.
Зелёный плащ весны
Мои укроет плечи.

Удача – вверх из рук! –
Летящей птицей станет.
Зелёный лес разлук
К себе на тропы манит.

Но, память бередя,
И растравляя душу,
Зелёный плач дождя
По всем дорогам кружит.

Роза декабря

Спят деревья, покоряясь декабрю,
Тягостным медленным сном.
Наперекор, не по календарю
Роза цветёт под окном.



К ней полыхающей, алым дразня,
Даже декабрь не жесток.
Ветром подхвачен кусочек огня –
Нежный её лепесток.

Холодно. Слякотно. Ночью дожди
В окна стучатся из тьмы.
Это отсрочка. Ещё впереди
Все преступленья зимы.

Харон

Привет, Харон! Ну как твои дела?
Передохни, на бережку присядем.
Клубится ночь в твоём тяжёлом взгляде:
Который век клиентам несть числа.

Оставь свой челн, прошу, повремени.
Успеют все они к вратам Аида.
Всё канет в Лету: страсти и обиды,
Счастливые и горестные дни.

Любой уход нам кажется – до Срока.
Вода у Леты – вкуса горьких слёз.
Здесь друг мой был по воле злого рока,
И ты его, как прочих, перевёз...

За чёрной Летой взгляд его и след
Растаяли, как призрачные тени.
А я – лишь гость твоих бессонных лет,
Твоих печальных сумрачных владений.

Мой срок неведом, но и я приду
В конце концов к печальной переправе,
Когда уронит Бог мою звезду
В горчачие некошеные травы.



За полночь гадаю, колдую, чтоб снова
Тебе на рассвете присниться.
По тихому свисту, по первому зову



Летит быстрокрылая птица.
Под цепкие лапы подставлю запястье
И крыльев коснусь осторожно.
Сознание силы, магической власти
Под пальцами – трепетной дрожью.

Я знаю, к рассвету истают все сроки,
И стану иная, другая...
А птица пока что рубиновым оком
Глядит на меня, не мигая.

Пигмалион

Обтёсывал, обкалывал
с уверенностью мастера
и по душе кровавящей
скользил стальной резец.

Прищурившись, выравнивал
изломанную линию,
углы, шероховатости
и грани – убирал.

Потом – рыдал и каялся,
что под его ладонями
не женщина, а статуя –
гладка и холодна.

Сехмет (три возраста богини)

I

Ещё ей вдоволь бегать по лугам,
Ещё теплы родного дома стены,
И ластятся щенками клочья пены
К её босым и тоненьким ногам.

Еще вокруг неё весенний гам!
Войдут не скоро в детство перемены.
Она боится хохота гиены
И теней, что ползут по вечерам



Над ней, крича, летит вещунья-птица
К востоку, что, полнеба раскаля
Рождает день. И в зное всё томится,

И пряно пахнут травами поля.
Ещё узды не знает кобылица
И тайн полна прекрасная земля.

II

Жара и кровь струятся по лугам,
И рушатся незыблемые стены...
Бушует море и лохмотья пены
Как кружева, кладёт к её ногам.

Там, за спиной, разноязыкий гам,
Предательства, интриги, перемены.
Обличье львицы и душа гиены.
А всё ж – богиня! Но по вечерам

Она кричит, как раненая птица.
В её груди, всё сердце раскаля,
Любовь неразделённая томится.

И в сумерках в бескрайние поля
Её несёт стрелою кобылица,
Где кровью не обагрена земля.

III

Чужая юность скачет по лугам!
А ей – заботы и вот эти стены.
Ушли года – в песок ошмётки пены,
И непокорны лестницы ногам.

За окнами с утра базарный гам!..
Болит спина – в погоде перемены.
Соседки – языкастые гиены –
Судачат всё о ней по вечерам.

Всего полно: коровы, овцы, птица.
Богиня солнца, печку раскаляя,
Готовит суп. Он булькает, томится.

Засеяны пшеницею поля.
Объезженная внучкой кобылица
Копытом бьёт. В ответ звенит земля.





Две сестры

Фортуна и Фемида – две сестры,
Как их противоречия остры!

Их не избежать и не побороть.
Две дочери – Судьбы единой плоть.

Ах, как легка Фортуна и быстра,
Беспечная везучая сестра.

В Садах Удачи позабыв про всё
Без устали вращает колесо.

Фемида не сорвёт повязку с глаз,
И не заметит сестриных проказ.

Ведь таковы условия игры,
Но – до поры, лишь только до поры.

Ночная Ева

Внутри вещей второстепенных
Я на себя всегда похожа,
Когда чужого мира тени
Скользят по обнажённой коже.

Уверенно и без запинки
Ступаю по границе взгляда,
И в сговоре с Луной тропинки
Эдемского ночного сада.

Пройду бесшумно, незаметно.
В траве густой мой след утонет,
И плод, заведомо запретный,
Уронит дерево в ладони,

Заманчиво мне обещаю,
Что будет вечно длиться э т о...
... В свою реальность возвращаюсь
За полсекунды до рассвета.



Станислав Минаков

Харьков



Этот страх беспримерный в башке суеверной,
твоей умной, дурной, переменчивой, верной, —
жадный опыт боязни, тоски, отторженья,
я лечил бы одним — чудом изнеможенья.

Потому что за ним — проступает дорога,
на которой уста произносят два слога,
два почти невесомых, протяжных, похожих,
остающихся, льнущих, ничуть не прохожих.

О, я помню: боящийся — несовершенен
в смелом деле прицельной стрельбы по мишеням.
О, я знаю, что дверь отворяет отвага,
и летает бескрылая белка-летяга.

Плоть поможет? Положим, и плоть нам поможет:
ужас прежний — на ноль, побеждая, помножит,
чтоб отринуть навек злой навет сопромата.
Сочлененье и тренье — завет, не расплата.

Плоть — сквозь плен осязанья и слуха —
прозревая, восходит к подножию духа,
тех прославив, кто в боязной жизни прощальной
лбды расплавил телесною лампой паяльной.



У грешника болит рука. Он болью, будто тряпка, выжат.
Рука нужна ему пока. Урча, собачка руку лижет.

Зверёныш — верный терапевт, зубастый ангел безусловный.
Он жизнь, сходящую на нет, кропит всерьёз слюной солёной.

Крепись — до Страшного суда. Греми, собакаина посуда!
И сказано: «иди сюда», и никогда — «иди отсюда».





На первую годовщину mopciцы Сони

Коль указал Андрюха Дмитриев
на лад созвучий дактилических,
живу, по-прежнему не вытравив
в себе позывов злых мелических,

хожу тропую сей и сицею, —
хоть выпало нам время то ещё, —
с весёлой толстенькой mopцицею,
похожей на Кота Котовича.

На чью ж любовь ещё надеяться?
Покрыта шёрсткой мягкой палевой,
мне косолапица-младеница
не скажет: «Надоел, проваливай!»

Легчают тяжести житейския;
у ней спасительная функция
Иосифа Аримафейского
иль Спиридона Тримифунтского.

Собака может быть водителем,
почти родителем, радетелем,
душевной кожи заменителем,
твоей судьбы живым свидетелем.

Одна, глазятами библейскими,
следит за утренней молитвою
и вслед идёт, и смотрит: бреешься —
когда по горлу водишь бритвою.

И ведь совсем не в наказание
потычет в ухо мордой искренной,
а в назиданье, в указание, —
кто любит нас любовью истинной.



Проснёшься — с головой во аде, в окно посмотришь без очков,
клюёшь зелёные оладьи из судьбоносных кабачков.

И видится нерезко, в дымке — под лай зверной, под грай ворон:
резвой, как фраер до поимки, неотменимый вавилон.



Ты дал мне, Боже, пишу эту и в утреннюю новь воздвиг,
мои коснеющие лета продлив на непонятный миг.

Ты веришь мне, как будто Ною. И, значит, я не одинок.
Мне боязно. Но я не ною. Я вслушиваюсь в Твой манок,

хоть совесть, рвущаяся в рвоту, страшным-страшна себе самой.
Отправь меня в 6-ю роту — десанту в помощь — в День седьмой!

Мне будет в радость та обновка. И станет память дорога,
как на Нередице церковка под артобстрелом у врага.

Памятник

На 70-летие со дня рождения художника Станислава Косенкова

Се, в бронзе замер ты, провидец Косенков,
в прозябшем свитерке на улице Попова —
Рождественки росток, остудую секом, —
на ход земной отсель глядеть всегда и снова.

По левую — базар, по правую — собор,
завязаны узлом в душе иль свет, иль темь их.
Но русский лишь тому понятен разговор,
кто в русском поле сам — и борозда, и лемех.

Нет, весь не умер ты! Сказали: стань и славь,
и ты взошел на столп — всецелая награда —
вознесен на века, как орден, Станислав,
близ Огненной дуги, на грудь у Бела града.

Пусть бражники нальют тому, кто недобрал,
пусть слабые, боясь, забудутся в постели.
А столпнику — стоять. Предтечею добра.
И вслушиваться в звук свиридовской метели.

Радоница

Нас покойнички встречают у ворот,
не видалися мы с ними целый год.

То-то радость, то-то общий интерес!
То-то новость, — говорю, — Христос воскрес!





Большеглазый и улыбочивый народ
населяет этот город-огород.
Здрасьте, родичи-соратники-друзья!
Не сорадоваться встрече нам нельзя.

Вот и свечка на могилочке стоит,
усладительна и радостна на вид:

пламя свечечки колеблется слегка
по причине дуновенья ветерка.

Православные, ну как не сорадеть,
если пасочка с яичком — наша снедь!

Веселитесь, родные мертвецы, —
наши дедки, наши бабки и отцы!

Сядь на лавку, поделися куличом:
дед с отцом стоят за правым за плечом.

Подходи, безплотный дядюшка-сосед,
слушать лучшую на свете из бесед

о земном преодоленье естества.
Мы ведь с вами, мы ведь с вами, вместе с ва...

Юрий Шкурко
Харьков



стены на которых
нас вешают
проваливаются
сквозь трещины
прорастают небытием
прессуются
перламутровым углем
которым рисует
жизнь на стенах
где нас нет





Из-битого разлома
жую я харьковский сухарь
И по ночам гляжу на Солнце
чтобы не видеть этих харь

Примерив шубу Мандельштама
колючей вечности звезда
Так свет топорщится углами
Изведав из-девается

а пока апокалипсис

самое страшное
эта зима пройдет
будет тепло
а пока
сбившийся комок одеял
не отличает тело

забвение даруется
детям и старикам
а кто помоложе
память наводит узор
мороза по коже

исчезать проваливаться
в ямки дивана
слова забывать
носки надевая



Цветочные часы

стихи зарубежных авторов





Александр Медяник	3
Алексей Филимонов	7
Андрей Попов	12
Виктор Качалин	14
Виктор Клепиков	19
Дмитрий Ларичев	26
Елена Берсенёва	29
Илья Будницкий	33
Ирина Каренина	38
Мария Серова	44
Ольга Олгерт	46
Таня Скарынкина	53
Татьяна Крещенская	60
Юлия Архангельская	64



ПОЭЗИЯ ЗАРУБЕЖЬЯ

Александр Медяник

Веспрем – Харьков

Из цикла «Паннония»



Тени забытых, не то предков, не то...
Не то, да и бог с ним... Бог же – Юпитер, –
сняв докучную тогу, надев пальто,
является в Оперу, где он зритель,
такой же как все, сладкий попкорн жуёт,
глядя на сцену сквозь бинокля линзы:
идёт «Банк бан»; имитирует народ
створками ладошек плеск.

Словно птицы
стаей галдящей пролетели века,
выклевав глаза придорожным гермам.
Превращения в дряхлого старика
не случилось, всё благодаря термам
здешним, волшебным. Аквинкум*, как встарь,
он навещает, сошедши с Олимпа,
и каменистую тропу не фонарь
в темноте освещает, а свет нимба.

Хороша опера тем, что есть антракт:
можно встать, размять ноги в направленьи
прекрасного существа, и блюда такт
завязать разговор. В сердцебиеньи
имеется сходство с цокотом копыт
по брусчатке; над наездником арки
отражают цокот, который звучит
у девы в ушах. Фабричные Парки
прядут нитку около реки Дунай.
Пльвёт транспорт под девятью мостами.
А на улице «Ваци» бог скажет: «дай»,
и уста повстречаются с устами.
И будет явлен миру новый герой,
тот, что превзойдёт самого Геракла,
в Новогоднюю ночь, своей бородой,





на создание коей в ход пошла пакля.

.....

** Аквинкум – одно из крупнейших из обнаруженных в Венгрии римских поселений, был столицей провинции Внутренняя Паннония, располагался на территории нынешнего Будапешта.*



Облупленность – черта страны,
здесь антикварны даже стены.
Я вновь поклонник старины,
и мне узоры трещин ценны.

И плесенью пропахший храм,
где, как паук, висит лампада,
и кровь, прилита ко щекам
от белого Суркэбарата.

Послойна, красок пестрота
царит вокруг железных ставень,
и камня истина проста:
ведь он всего-то грубый камень.

Улица гуляния

Здесь
речь немецкая слышится летом.
Образует фонтан группа каменных дев.
Расставлены тяжелоатлетом
кубы, на коих люд отдыхает, присев.
Движенье времени, посредине
улицы, фиксируют большие часы.
Манекены застыли в витрине:
у того, что в белой майке – лицо лисы,
или точнее – ли□са. Играет
чардаш около почты мальчик на
скрипке. Материя звука тает
в переулке, в стеклянном бокале вина.





Голубка, взлетевшая с мшистой крыши,
равнодушна к домострою во дворах.
До небесного руна чуть-чуть ближе,
коль сделать взмах
крыльями ещё один. Чем ведома:
силою земли или какой звездой?
Письмецо неся к Прекрасному Тома
летит стрелой
весь день там, где золотится пшеница.
В навечерие – уже в царстве ином:
где горе □ виноградной тёмный снится
погреб с вином.
Пролетая мимо витражной розы,
она заглянет вовнутрь, словно в ковчег.
Свиток – образчик Илоныной прозы.
Платье, как снег,
у феи Илоны – смотреть аж больно!
Голубка, закрыв глаза, падает вверх
на висящий на столбах-колокольнях
небесный мех.

Маленькая продавщица

Девочка, что сидит на куче тряпья,
увлечена взвешиванием чашки.
Она ставит её на весы, ведя
пальчиком гирьку по шкале.
Стекляшки,
фаянсовые статуэтки – она,
сняв чашку, ставит фигурку японца.
Шумит базар, но вокруг неё тишина,
над которой жарится лангош солнца.
И бурлит полнолюдный лихой поток;
хватается за подсвечника завязь
чья-то рука, и, вырвав, как шерсти клок,
уносится вдаль, из виду скрываясь.
Но ребёнок не может быть невезуч:
развивая коммерческую жилку,
девочка-цыганка взвешивает луч,
попавший в сверкающую копилку.



Эстетика

В меня вселяется давний дух –
возвращение к угловато-лохматой
звериной эстетике.
Это из категории почти что неизречённого.

И вот я на блошином веспремском рынке
пытаюсь найти некое физическое
приближение к ней.
Пестрит...
Скользкий взгляд резко тормозить начинает,
словно раскрылся парашют.
Он попал на весьма шершавую поверхность
глиняной статуэтки – лохматый медведь,
стоящий на задних лапах,
поднимает передние вверх.
Целый коробок наполненный ними,
разными: глиняными,
фаянсовыми, деревянными,
даже склеенными из ракушек.
Очевидно, хозяин умер, а родня, собрав
эту коллекцию в коробку,
попросту выставила её вон.
Продавец принимает меня, видимо, за немца.
Говорю, что я – ukrán.
Он спрашивает: есть ли на Украине медведи?

Я закрываю глаза, открываю и...
вижу её среди прочих.
Ах, это племя медвежье, окружающее меня,
они почти с меня ростом, длинношерстны,
пляшут вокруг,
бьют в бубен,
кричат «tánc!»
Наш бер-ложный танец...
Серпантин увлекает авто вниз, к Балатону.
Из киоска выпархивает продавщица
мороженого, спеша домой,
из кокона – навстречу свету, ночная бабочка,
а она пытается выпорхнуть
из костюма карнавального.
А я всё признаюсь ей, что, дескать,
она перевернула мою жизнь с ног на голову,
словно песочные часы, но, как песок
от этого не сыпется быстрее,





так и не убыстрилась жизнь моя.
Жизнь цветка, цветка фейерверка,
идёт на наших глазах.



Керосиновой лампы тепло
согревает за столиком шатким,
и вино наполняет стекло,
и салфеток улыбочивы складки.

Так сидеть и болтать ни о чём,
ворошить задушевную мякоть.
Скрипку-неженку тронет смычком
музыкант, заставляя заплакать.

Так смотреть в огонёк-язычок,
позабыв, что сейчас ночь глухая.
И скрипицу настроит сверчок,
музыканту дуэт составляя.

Красит губы угорская речь,
применяя, как будто, помаду;
и пытается память сберечь
вкус той речи, с которой нет сладу.

Алексей Филимонов *Санкт-Петербург*

Оzero

Туман был легок и непрочен,
прозрачной дымкой застилал
тот берег озера воочью,
и недостроенный причал.

И рябь небесная двоилась
на пленке сумрачной воды,
недосыпающая сырость
во влагу кутала следы





изгнанника или пророка,
спешащего к небытию,
где небо красного Востока
уже узрело полынью.

И Око озера клубилось,
яйцом времен и чистоты,
и явь мгновенно отразилась
над пристанью для высоты.

Скачай о бездне файл в формате «Ave!»...

Скачай о бездне файл в формате «Ave!»,
где хаос расслоен по берегам,
и на утесах – стертые заглавья
молитвы, посвященной вне-богам.

Эзотеричен путь во мгле скитанья –
скиты пусты, и путники просты,
прошла эпоха силы и дерзанья,
остались фильмы, и в окне – кресты

заменены на плоть стеклопакетов,
где вакуум фильтрует звук и прах,
в субтитрах бог оставил без ответа
немой вопрос и скрылся в облаках.

Синька

Мы в детстве глазели с изнанки
среди неба магических плит,
и мир обступивший был замкнут,
а может, предельно раскрыт.

И мухи жужжали, и осы,
и звезды роились вокруг,
звенели росисты покосы,
и бездна клубилась сам-друг.

И в сон непроявлена плазма,
на пламя похожа без дна,
как мед протекала негласно,
черемухой в синьке цвела.





И в синей метели безбрежья,
сгущавшейся в зной до пустот,
мой ангел таинственно-нежный
мерцал над зеркалом болот.

Всерождённый

В какой точке мира и веке каком
мое воплощенье земным языком?

Я сразу родился во многих веках,
вдогонку клубится их пепел и прах.

И ветка рисует закат за окном
на этом просторе, а может быть, в том.

Мой след расслоился, и множится мир,
в котором дробится и бог и кумир.

Я сразу пишу на восьми языках,
и сон-иероглиф томится впотьмах.

Когда двойники собираются вдруг,
то пламенем бездна объята вокруг.

И влажное пламя немного костра
на углях мерцает, когда нам пора...

Так я проживаю во многих веках –
к ним с молнией вход в грозовых облаках...

Дверь Бездны

Здесь нет границы – только ночь,
которая зовется бездной,
и пограничнику невмочь
оберегать район беззвездный.

И даже солнце не цветет
над полосой прохожденья
от края душащих забот
к пустынной тени отчужденья.





И бездна явится из тьмы,
волною черного сиянья,
в безбрежье атомной зимы,
среди вечности вне подаянья.

Раскроешь дверь в нее – как в сон –
скрипящую перед рассветом:
ты бездной бездны вознесен
над городом прозрачным летом.

Лунодень

Луна за тенью семенила,
тень породившая собой,
и то, что днем казалось милым,
теперь пленило пустотой.

И зарешеченного Сада
просили статуи мечту,
за подаянием к ограде
небесной – выстроясь к мосту,

уже раскинутого к лету,
одолевающего Стикс,
и сфинкс, неявиленный сюжету,
играл на скрипке волн каприс.

И сукровь Павловского замка
сочилась по стенам в канал.
Благоуханную буханку
из манны ангел нам подал.

Вина луны необратима,
она свидетельница снов –
и пушкинского серафима,
и неприкаянных голов.

Паводок вне

Птица-правозвестник,
ледяна строка
в паводках небесных,
где кораблик сна





тает в зазеркалье,
на ручье извне:
и невизм, кристален,
здесь и в глубине...

Безданность

Без-дано, привито,
ощущенье вне
полости забытой:
бездны в полусне.

Полуоправданья
перед запятой –
знаком мирозданья,
за которым – той

вечности изнанка,
снятая здесь.
Бездна спозаранку
кажется воскрес...

Воскрешая вечность,
и восстав от сна,
бездна человечна,
и порой права.

Звуком восхожденья,
пламенем сквозным,
всем, что от рожденья
кажется иным.

И преодолевая
боль небытия,
безднополагая,
судим мы и я.

В обоях притаившиеся сны...

В обоях притаившиеся сны
уже плетут узоры зазеркалья,
и тьма, по потолку небес стекая,
заполнит комнату, где снами будем мы.





Фонарь-паук пронзает полусуть,
в углу двойник тоскует этажерки,
где книги – безучастья водомерки,
пока их не раскроет кто-нибудь.

Спать иль не спать? Ответит тишина,
за шторую – алмазные созвездья
трехмерным стеклорезом милосердья
кроят кристалл невиданного сна.

Андрей Попов *Сыктывкар, Республика Коми*

День Седьмой

*Но Он, зная помышления их, сказал человеку,
имеющему сухую руку: встань и выступи на средину.
И он встал и выступил.
Лк. 6,8*

Выступил на средину храма – и протянул руку,
Сухую руку, в которой давно никаких сил.
Видели фарисеи надежду его и муку,
Видели – в день субботний Христос его исцелил.

А ты протяни сердце, что стало сухим, как камень,
Сухое сердце, в котором нет ни любви, ни слёз.
Нельзя жить с сухим сердцем. Особенно если в храме,
Особенно если с нами в день субботний Христос.

Комиссары цинги

Я обладаю странным и темным каким-то даром.
Хочу должнику от сердца оставить его долги,
Но почему-то вижу, что станет он комиссаром.
Или в скиту поселится, чтобы страдать от цинги.

А этот поедет в Питер, влюбится в продавщицу,
И бросит жену, чтобы месяц верить – живу в раю.
Потом захочет вернуться, потом решит утопиться...
Зачем им все это надо, когда я долг отдаю?!





Оставьте долги! Но только – кто их кому оставил?!
Долги красны платежами, которых я не найду.
Хотя для темного дара не существует правил,
Но лучше остановиться, чем душу топить в пруду.

Зачем нам нестройные мысли?! – я говорю это с жаром.
Мне отвечают: – Вы правы... Это совсем не с руки...
И думают, как скорее можно стать комиссаром.
И уезжают на север, чтоб умирать от цинги.



Расплавятся тревога и отвага,
Мечта и горе обратятся в сплав.
И в некий час пойму, что это благо –
Судьба моя.
И Твой пойму устав.

Что Ты так выбрал только ради света,
И этот выбор был необходим,
Чтоб научился я Твоим заветам –
Блаженным оправданием Твоим.

И станет ясным, для чего всё было –
Слеза моя и немота Твоя...
То, что сегодня я понять не в силах,
То, что никак не понимаю я.



Свеча догорает, а в храме
Молящих о милости нет...
Всё ниже и трепетней пламень,
Которым никто не согрет.

Так жизнь моя... Нет ей итога –
Значения прожитых лет.
Лишь вера, что пламень от Бога,
От Бога – колеблемый свет.



Блажен тот муж, который не идет
На шумные советы нечестивых,
Он, словно древо при потоках вод
Посаженное, чтобы терпеливо

И в час урочный принести свой плод.
Не доверяя страстному порыву,
Он созерцает жизни небосвод –
Внимательно, спокойно и пытливо.

А нечестивым нужен гнев и страх,
И нрав, и торг, где верят темной силе,
Рвут удила и ткани сухожилий,

Мешают языки, религии и стили
И юность сердца обращают в прах,
В горсть раздраженья вавилонской пыли.

Виктор Качалин

Москва

Галилейский воздух



Апрель жестокий месяц, но не в Галилее,
здесь вяхирь не спорит с чайкой о ветхом и новом,
здесь стаи белых цапель облистают вечер,
а пеликан над морем взмывает утром,
глубок и глуп кошачий взор маякающего к дождю павлина,
горчичные поля слепят, не ослепляя,
дымится влажной лавой кратер Кинерета,
покой субботний полон, как облако над Кармелем,
и роза Цфата, и гибискус Хайфы сверкают
воскресной кровью.



День земли

Дважды и трижды Иерусалиму
сказано быть и разрушиться снова,
семь хлебов преломить,
две рыбины в год
и одну Марию.
Громом пахнуло и ветром с Кармея.
Собирается дождик четвертый день –
но грозы не будет.
Галилейский воздух. Камни молчат.
В первый день пасхальных каникул
дети играют в мяч во дворе школы Корчака.
Дух дышит где хочет –
приходит рано, взбегает в любое место,
не мимоидет, предвиден, не узнан.

Эфиопка

«Пока ты идешь по лестнице,
довольный, усталый, с новой войной
и с нагорным вином за плечами,
я плачу внизу – не оттого, что я потерялась,
мой дом напротив твоих дверей.
Я сама к тебе постучусь
и спою тебе песенку –
ни о чем, о долгой счастливой жизни,
о том, что весна пришла –
радуясь и страдая
очистить место
от стен Иерусалима,
от купальских огней,
от снов Галилеи» –
так пела мне девочка-эфиопка,
а я и забыл, что вчера
было Благовещение.



Каждый проходит свой путь в одиночку,
пока не увидит день,
каждый просит: «Ещё одну ночь!» –
песня песней не знает вестей.



Тягостен путь из любовных объятий
до пустыни Фаран,
где нет ни веры, ни вероятий –
один лишь голод солнечных ран
и точка посреди гор.
Бегун и вор
в нее не метят.
Рай – внутри, а образы купаются в свете
Красного моря.

Дом Тавифы

Александру Иванникову

Где скажет Петр: «Тавифа куми»,
«Бет» и «лямед» поменяв местами –
Там Ботанический сад бесшумный
И двери с погнутыми крестами.

Павлины сигают через ограду,
А пеликаны парят в поднебесьях,
Как будто бы нет ни генны, ни фаду,
А лишь ветер из Яффы и сон без лестниц.

Там, на углу – молодая пальма,
Там сжалось время и вспять пустилось,
Любая песня – пребезпечальна,
А острый камушек – в сердце милость.

И моря больше нет

И море тонет в снах оливы,
подраспорив в себе затверженное небо,
куски колонн вокруг фонтана в Табхе
припоминают в полдень старые обеты,
горячий воздух – не вино! –
дрожит в базальтовых давиленьях,
и море – галилейское, живое –
давно твой охватывает ноги,
и слёзы льёт, и умащает мирром,
но мир неузнан.



Тогда, отрезав волосы,
на ветер отпустив их, сонных,
и солнечным огнём хрусталик смятый
повыправив – надрезав зубцами Цфата
перенаполненное сердце,
ты ощущаешь грудь упрямой Галилеи,
и лоно, полное цветущих молний –
вот так, узнав друг друга,
вы рассмеетесь оба на обрыве,
но мир неузнан.

Сон

Рано утром первая гроза,
с молниями как лотосы.
Солнце и дождь сговорились
не хлестать Галилею,
нежно вынести ее на свет божий.
Сижу и слушаю молчание горлиц.
Во сне видел Цфат,
треснул глиняный символ,
купленный на базаре –
рыбка с тремя отверстиями,
и тогда я стал раздавать друзьям
кусочки башни.

В начале нисана

Авессалом утвердился в Хевроне,
Гоголевский нос касается мраморов Кесарии,
Цезарь смотрит «Мартовские иды»
и не узнает себя в Давиде,
плачущем о мятежном сыне, ласкающем арфу.
Галилейские кудри запутались в римском дубе,
каменный, резной рай для сына улитки
оказался еще тесней. Ласточка режет небо,
влетает в аркаду, ей неважно, век седьмой
или двадцать первый.



Кармель не виден из-за хамсина,
Хермон не виден из-за тумана,
снег на его голове – убегает от взора,
брошенного от Галилейского моря.
Снежный пир и дождь не уживаются вместе,
а вода прибывает тихо, словно возлюбленная,
и будто нож, входит в меня свет звезд.

Приближаются Бык и Венера друг к другу –
первыми засверкали на небе.

Перейди Иордан по мосткам – невидимый ночью,
оглянься на небо – их будет трое:
Марс убрёл, и набегает Гермес триждымудрый
с надписями из пустыни,
а корова-ночь,
две звезды на боку вздыхают –
пасётся себе, мнёт анемоны, поднимается выше
на гору Йетро, где пещерные своды
обнимают входящих с миром,
где бесноватые бьются о камни,
а за ней шагают два близнеца-теленка,
золоторыжие, как волосы у любимой,
и над ними взлетают и снова кругом садятся
тени белых голубок.
Одинокий гусь кувыркается в небе,
пойманный горным ветром.

Мозаики в Табхе

Хлеб и рыбы – почивают в камне.
Нил не поднимается до «эты»?
Красный ибис клювом бьет дамана,
Птицы пьют нектар и тешатся любовью.
А павлины – вперились друг в друга.
Лишь фламинго – в вечном, нежном,
страстном поединке
со змеей завета



Виктор Клепиков

Ташкент

1. Человек без кожи

Человек без кожи,
влюбленный в дождь:
каждой каплей – боль!
каждой точкой – взрыв!

Это дробь, или, может,
такая дрожь,
что любой бы
от этой дрожи
запел навзрыд?

Крику места нет
в пустоте грудной –
небо птицам!
но держит изнанка вен...

Человек без кожи!
В палящий зной
что творится
в его ободранной голове?!

Мне б унять чудовищный
черный чад,
что рассудок светлый
обнес стеной...

Я коснулся робко
его плеча:
вспыхнул взгляд на миг
и опять...
темно.

2. *Lacrimosa* и нервное соло сердца

Lacrimosa и нервное соло сердца.
семь.
а я не ложился.
восемь....



слова никогда не станут эссенцией
того,
чему нет названий
вовсе.

мне нечего делать?
пишу, упорный.
а Ты
со мной,
у меня под кожей.

Тобою

пропитан,
зажжен,
взорван!

такою....

бесОвской?...
людской?...
божьей?...

откуда у черного кофе привкус жизни?
мне кажется,
или я тайком проклиная утро,
и,
нервно смеясь,
вырываю у этой жижи
еще одну долгую приторную
минуту?

иллюзии?
реальность, наверное, тоже чья-то...
говорят, бог – женщина...
значит стерва.

возможно, любовь
сейчас равносильна яду.

я с Тобой.
я люблю Тебя.
я пью первым.





3. Солнце

Такое большое, слепяще-скушное,
Миллиардолетне-громоздкое
Оно светило когда-то Пушкину,
Светило Есенину,
Маяковскому...
Ловило взглядом светильим
мутным
Кошмары пуль,
веревки и ножей
Цветаеву сентябрьским утром
Лучами силилось снять с вожжей.
С луной переглядываясь,
не дышало –
Легко ли быть подневольным зрителем?
Душа,
она ведь есть и у шара,
Горя, освещающего действительность...
И часто так заходило с вопросом
Одним и тем же –
в румянец небо –
Поэтом быть,
ведь это не просто,
Поэтов людям поднять в цене бы...
Мне страшно глядеть на него под вечер,
Когда оно сострадавая меркнет:
Стыдитесь,
оно в сто раз человечней
Любой человеческой мерки.

4. Маме

Я хотел бы прижаться к твоим коленям,
Как виновный,
одною тобой помилованный,
Всю тоску,
всю боль моего поколенья
Выжать в шепоте:
мама,
мама милая...
И сырую пропасть,
что между нами
До сих пор лежит
пустотой простуженной,



Оседлал бы мост,
приколоченный намертво
К нашим неразлучным душам.
Я тогда бы бросил и пить, и писать,
По галактикам
уже не гонял мечту бы:
Ну подумай,
к чему мне звездные небеса,
Когда жарким лбом я чувствую твои губы.
К чему мне рукоплескающий зал,
К чему слова,
имена,
названья?!
Я, может, за тем лишь поэтом стал,
Чтобы выпросить только твое признание.
Может и не хотел я
ни лир, ни строк,
Ни иного,
тому подобного “хлама“,
Но другого не сделал,
видать, не смог...
Прости меня,
мама.

5. К картине Гогена «Желтый Христос»

За крылья прибитые к доскам,
За беды, за раны...
За Босха,
За Альбрехта Дюрера, и Тициана.
За воск оплывающих свеч,
За холодный закат,
За смерч,
За пробитые руки и дыры в боках...
За черные дни,
За погрязшие в войнах столетья.
За них,
И в раю не отвыкших от плети.
За то, что наказан
Закинувший сетиловец,
За казус –
За дерзкое “се человек“
За то, что весною Бретань бесконечно красива,
За все это, если бы выжил, сказал бы спасибо!





6. 2600

Это мелочь для птицы –
туда и обратно...
даже в дождь проливной долетит
и пера не уронет.
Это мелочь для птицы,
а нашему брату
провода, чуть живая надежда
и тонны иронии...

Новый день – дежавю.
Настоящее не наступит.
Нам внушили, что цепи
прочнее зубов – “грызите!”
В сотню клавиш вмещаем душу,
но мухой в супе
пресловутая правда
и прежний ее эпитет.

Скоро скажем друг другу:
“Знаешь, сегодня утром...”
и умолкнем, спасаясь
за окнами дисконнектов...

К ЧЕРТУ ВЕСЬ ЭТОТ ВЗДОР,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТАК, КАК БУДТО
ВСЮ ВСЕЛЕНСКУЮ ВЕЧНОСТЬ
Я ЖДАЛ ОДНОГО МОМЕНТА
И ДОЖДАЛСЯ!!! А НУЖНО ЛИ БОЛЬШЕЕ?!!
НЕТ, НЕ НУЖНО!!!
УДИВЛЯЙТЕСЬ СЛОВАМ ИДИОТА,
КОТОРЫЙ СЧАСТЛИВ....

Вот и все. Дописалось.
Дымит пригоревший ужин.
И так много хочу сказать ей...
но вот, сейчас ли?

7. Тебе

Горечью оболую тротуары мокрые,
стану дождем проклинающим зонт твой,
истощным ревом, ревущим около



ног твоих,
но где-то за горизонтом.
Слышишь?
Улица – седая старуха.
Истина:
ее перекресток – крест мой.
Юлия,
в бессмертную тишь протяни мне руку,
и, как пророка земного, люби и чествуй.
Я воплощенье саднящей памяти,
лета,
живущего в неразгаданной тайне.
Хочешь, оставлю тебя в покое?
Для этого
мне бы сделаться чуть реальной...

8. Дальний Берег

Разгорался январь белым пламенем вьюг,
Мне, как ворону – юг, снился берег Азова,
Где влюбленные птицы молчат – не поют,
Не умея сказать несказанное слово,
Где все небо в пожарницах мне на беду! –
Сколь же глупой мечтой жил Остап у Петрова!
Душный Рио, не жди меня, я не приду!
Мой единственный рай – дальний берег Азова.

Пусть твердят мне: “Пустое! Лишь явь наяву!
Все мечты, как мираж, в одночасие сгинут!”
Целым миром клянусь: я туда доплыву,
И уже никогда я не буду покинут.
Вот увидите, звезды Азовских небес!
Мне в карманы вас, глупые, рвать, как малину,
Чтоб мерцанье таили и шурили блеск,
Чтобы в ноги бросались послушной лавиной.

Пожелай мне в дорогу семь футов под киль,
Ветра в парус, да ласковых волн бирюзовых!
Наши вещи сны на помине легки,
Скоро я разыщу дальний берег Азова!
Доплыву, и схвачу тебя за руку – верь! –
Вспыхнет жаром грядущего пепел былого!
У чертовки-судьбы сто тузов в рукаве,
И одно несказанное, вечное слово.





9. Душа

Лежит под диваном,
под слоем метровым пыли
обглоданная, в грязи,
но еще живая.
Достать бы ее,
все наверно уже забыли,
что в этой глуши
и такие еще бывают...

Вот будет потеха - пройду с ней,
пускай с увечной,
и други и недруги
челюсть уронят дружно:
ведь думали – сгрызли?!
Ан-нет, оказалась вечная!
Такая знакомая мне
и такая чуждая...

Достать ли? Да ну ее,
с ней без конца неладное...
Еще одна надобность
быть ко всему внимательным.
Пускай где всегда валяется,
ненаглядная...
На наших дорогах
навалом таких плевательниц.

10. Гроза

Как у Моцарта сороковая симфония,
На ликующий день проливалась небесная жалость,
И, казалось, что в ней беспрепятственно тонем мы
И до дна остается нам, может быть, самая малость.

Посерело вдали, загремело, забилось, зафыркало...
Кто-то ждать не привык, кто-то выбежал с рёвом на улицу.
Зазвенела весна, как телега с пустыми бутылками,
Отхлестала холодным дождем безнаказанно по лицу.

Мы промокли. А как же, скажите, иначе нам
Оживать в предвкушенья давно позабытого прошлого?
Наша жизнь столько раз уже переиначена,
Что до судорог вдруг захотелось чего-то хорошего.



Дмитрий Ларичев

Москва

Два ноября

I

Остывшая дача, ноябрь. А цвёл ли жасмин?
А был ли июнь, о котором молчали СМИ? –
где телевизор был лишь подставкой для
вазы с пионами. Трёхметровая конопля
потрафляла веранде! крыльцу! всему!..
И хотелось кричать от счастья «быть посему!»
затворить калитку, взрыхлить постель,
проводив до станции очередных гостей.
Но у стен есть правило: если ноябрь, то
задвигай поплотнее ставни, открытым ртом
не лови ангину, не жди гостей, –
зажигай постель.

II

Остывшая дача, ноябрь. Подобраны неба
оттенки – Художником или Богом.
Осталось совсем немного – сходить за хлебом:
ведь скоро лето, – осталось совсем немного.
...На озере мёрзнут птицы – немного хлеба. –
Ведь скоро лето, – осталось совсем немного...

Записка

Я оставил тебе два диска – ты посмотри их, –
твою собаку сводил в Воронцовский парк,
вымыл посуду, глотнул пивка; со старенькой Мрии
стирая пыль, станцевал гопак.

Почистил туфли, взял папиросы, погладил Дрейка,
захлопнул дверь, выполз в июльский зной.
Приближаясь к дому, заметил мельком:
мелькомбинат, Сокольники – лес густой,

фонарь, аптека, – казалось бы, всё на месте, –
метро, каланча, – разве что я не тот. –





А когда это было иначе? – старая песня
(Макдональдс, Пятёрочка, ёшкин крот)...

Кроты далеко в Подмоскowie копают землю,
поют соловьи... Слушаю свист мента.
Зелёный свет, – плетусь бесконечной зеброй, –
всё тот же – сутул, подслеповат, картав.

Ожидание

Чёрная белизна. Оксюморон.
Чёрные фонари вызванивает Желтизна.
Ох, не к добру всё это – мне ли не знать...
Закутываюсь в пальто, выхожу на перрон.

Поезда нет – и нет, накрапывает дождь.
Рядом стоит такой же – он потерял дочь. –
Скорее всего, уронил – и не успел поднять, –
вот так и становится невыносимо лёгкой ручная кладь.

Ультрамариново-жёлтый винсент ван гог,
не отыскав скамейку, примостился у ног
статуи Ленина (заблеял ранний петух). –
Видать, не судьба ему уйти на своих на двух.

Это Волок на Ламе – ночной Волоколамск.
Отражение в луже: пьяный вдрызг.
Но я окажусь здесь снова – ясен пень –
в такой же дождливый международный день.

Беглец

На кирпичных стенах, на сером асфальте –
словно возгласы «ах!» –
в стылом воздухе – соколом, липкою мразью
по тебе расползусь – с первым снегом.
Я – Дорога кривая твоя, твой Дурак. –
Отпусти! – я готовлюсь к побегу.

Я готовлюсь к побегу с начала времён, –
станет воздух здесь чище, и гимны – слышнее;
вслед за мной унесётся гомон диких племён –
ложь полковника – Плач Лорелеи.





Стал никуда не годен: не получился Гоген, –
не бросил семью, – бросишь писать стихи,
картины, доносы в прозе... Вся твоя жизнь в грехе,
хоть никто этого не просил.

Не будешь ты одинок, – будешь совсем один:
жена приласкает, сынок посусюкать даст. –
Отправишь их – на работу, в школу, – останешься, сукин сын –
сидеть в своём лайвджурнале. – Да в лёгкую – с пьяных глаз...

Открытие дачного сезона на даче в Дубках

Ночь. Луна. Безумная ель...
Костёр догорел; безучастные куклы –
Мерцают две точки среди пустырей, –
Погасло здесь всё, но... не всё здесь потухло!

Глазёнки во мраке, я вижу, горят, –
Дрожащей ручонкой стакан подымает;
Пустые бутылки становятся в ряд,
В кустах чья-то музыка тихо играет.

И тихо – два ангела, два светлячка –
На землю спустились мы, чтоб похмелиться:
В уньлой столице нам нет маяка, –
Пришлось нам на даче – на время укрыться.

На даче!.. Похоже, нас Бог уберёт,
Тем паче цвела там цветная капуста;
Пугливый хорёк избегал подоплёк,
Сверчок верещал от капустного хруста.

В крапиве кузнечик на скрипке играл,
Росла конопля так удобно у дома;
Бывало и так – мотылёк залетал,
И жук-короед (он нам – старый знакомый).

Но, что-то отвлёкся от главного я...
А, вспомнил, – вот тут – описание природы –
О том, как горела под нами земля
Под «марш несогласных с прогнозом погоды».





Стоим, как всегда, у последней черты;
Зелёные черти кидают нас в реку,
Нам землю взрезают слепые кроты –
Подземные гады, враги человека.

И вот – зазвенело оно, занялось! –
Обрушилось небо хмельною капустой;
И было бы лихо, но всё обошлось,
И стало хреново, спокойно и пусто.

Но вряд ли пустые бутылки звенели
О том, что в них было (кто пил – тот поймёт).
Проходят метели, летят в колыбели;
И эхо за ними, и это пройдёт.

Елена Берсенёва *Новосибирск*

Ноябрь

Трупы врагов уплывают в море.
Холодно на берегу.
Осень.
Согрей мне чаю, старуха!
Новую сеть принеси –
еще одна
золотая рыбка плывет.
Сколько их было?
Восемь.
Ни одна
Не дожидала до зимы.



И у меня появились ночи,
Свободные ото всех упреков,
Наедине с книгою.



Это город мертвецов –
Ты отсюда не уедешь
Ты отсюда не сбежишь.
Все дороги закольцованы.
Бредишь
Жизнью...



Трамвай, тихо свистящий
По лужам в полнолуние
Раскрывает свои
Лепестки
В восемь поклонов
Обхватывающие
Нежные мочки ушей
Незрелой красавицы.



Размороженный
Встал,
Потянулся
И начал стареть.

Вывих

Ты находишь друзей в ЖЖ и прячешься от живых, ты жалеешь себя в душе когда спишь и когда не спишь, но говоришь себе: это какой-то вывих, это не выправить, я не люблю людей, что стоят за моей спиной, но он, пусть еще хоть немножечко он побудет со мной.

Гладишь кота по утрам, давишься растворимым кофе, все время твердишь: я сам, я сама, вовремя приходишь в офис, удаляешь спам, улыбаешься письму, и думаешь: наверное, плохо жить одному, только я еще подожду, в самом деле, я не так уж нужна ему.

А за городом распустились дачники, пришла весна, ты весну встречаешь растерянно из окна, правишь верстку, сканишь сертификат, окна в доме мамы твоей смотрят на закат, только ты там давно уже не была, хоронили бабушку, извини, не смогла, дела,



проезжаю мимо, вижу, как окна твои горят, значит – все в порядке, только ты не грусти, я рядом.

Смотришь почту, общаешься ни о чем, ты привыкла сама быть своим палачом, рядом жизнь смеется, толкает тебя плечом: «Посмотри, весна, посмотри, черемуха зацвела!» – Жизнь, отстань, у меня дела, не мешай, говоришь, не ори, я устала, смотри, я и так без сил, ну какая муха опять тебя укусила?

В голове «тик-так», в голове дожди, ты не плачь, говоришь себе, подожди, ты же видишь – почти уж конец недели, ты приедешь, уткнешься ему в плечо, и он будет любить тебя горячо, и всю ночь разговаривать ни о чем, а под утро с улыбкой заснешь у него в постели.

... жизнь под носом размахивает калачом, а потом ухмыляется:
«не тебе, бездельник!»

Умерла, говоришь, умерла – я тебе никто...

– Умерла, говоришь, умерла – я тебе никто. Я тебе – нигде – ни к душе, ни к сердцу, ни в кончиках пальцев. Ухожу, до свиданья, подай пальто, вот такое у нас с тобой шапито – рыжий клоун плачет: допрыгался, отсмеялся.

Вот такое дивное спортлото, мне выходит уйти, а тебе остаться.

– Подожди, говорит, не руби с плеча, не кричи, остынь, можешь помолчать? что не так, что опять без меня случилось? Не могу, говорить, говорит, простыл, горло выдрано, кашляю, нету сил, вот завариваю новый чай, отчитаюсь завтра, как получилось.

– Не хочу, говоришь, не могу, прости, мне остаться – тебе уйти, уходи, говоришь, не мешай дышать, не губи, отпусти, не воруй мой воздух.

– Потерпи, говорит, всё проходит, моя душа, завари чайку, выпей не спеша, не накручивай, выкинь из головы, я соскучился – в пору хоть волком выть, приезжай, ну, пожалуйста, без вопросов...
Значит, вечером встречу, умница, все же просто!

– Уходи, говоришь, уходи, не звони совсем, не пиши, прошу, провались ты к черту, к жене и детям!

– Ты устала, милая? Нет проблем, отдохнем в глуши, платье будешь шить, я скучаю по нашему шалашу, соберись к четвертому, я заказал билеты... Потерпи, любимая, так недалеко до лета...

– Умерла, говоришь, умерла – я тебе никто, я тебе – прости, отпусти...





Черный косарь

В двадцать один было время метать гранаты молодым, не заметил и сам, как оказался распятым.

Три часа предсмертных растянулись на три столетия. Отче, где ты?

Мой крест – одиночество. Тридцать три – это лето, никому умирать не хочется.

Почему ты как жилы из меня вытягиваешь слова? Их никто не читает, пока мы живы, и мама была права – неудач будет столько, сколько веснушек на твоём лице, доченька.

Тебе это, рыжая, как напоминание об отце – привыкай к одиночеству.

Хоть носом заройся в книжки, не поможет – выживешь.

В крови твоей, рыжая, девять жизней, терпи, хоть восемь и лишних, девять неудачных версий, девять мучительных песен-припеволок с мерзким концом.

Кто рассыпал веснушки, девочка, на твоё лицо?

Отче! Сколько раз приходил твой чёрный косарь по осени собирать слова, куда ты уносишь их?

Неужели мама была права, и я неудачница, затерялась во времени, и все мои влюбленности временны, не найти, не догнать, потеряла – забудь, ты разве не знаешь – это смерть, пустота, нирвана, и ничего не будет в конце, только рваные раны осени...

Чёрный косарь, куда ты уносишь их? Все меньше остается веснушек на моём счастливом лице.

Первый курс, по колено косы

Ты – первый курс, по колено косы, а он – талант и почти что гений, и ни о чем ты его не просишь, вот только бы не спускал с коленей, держал бы крепче, колот щетиной, шептал бессовестные анекдоты, а ты б смеялась:

“Я пошутила, отстань, щекотно, да ну чего ты!”

...потом ревнуешь его к подружкам, а он приходит немного пьяным, смеяшь, считает твои веснушки и исчезает под утро рано, нескладный, глупенький твой Андрюшка.

...и он приходит теперь все реже, а ты все любишь его сильнее, он смотрит мимо, как будто режет, как будто быть может еще больнее...

...ты ждешь его с четырех весь вечер, сказал – придет, значит, будет встреча, часы трясешь и себе не веришь, сидишь всю ночь на полу у двери, кусаешь пальцы и тихо воешь, когда проснешься под утро рано, то хлопнешь носом и дверь закроешь...





Илья Будницкий

Екатеринбург

Из цикла «Петербург»

У книги не разрезаны листы, –
Как будто бы опущены мосты
И нам на жизнь и смерть не разделиться,
Не обронить последнее «прости»,
Не научиться к старости грести,
Не стать легендой северной столицы, –

Каналы сузят рвы, и станут – швы,
Под ядовитым семенем травы
Потрескаются мрамор и граниты,
История извергнет чужака, –
Тот город, что растягивал века,
Меняясь с одержимостью улиты.

Чем каменные джунгли веселей,
Тем больше в них запущенных аллей,
Где пропадают львы и василиски,
Где под мостами жизнь почище той,
Что падает с последней прямотой
В амбарным игом тлеющие списки.

Над городом не ночь, но царский плен,
Когда твой взгляд на уровне колен,
И двери в небо – мост меж берегами,
Когда провал – бегущая вода,
Но странствия растлили города,
И откровенья кажутся снегами.

Застыл поток? – под аркой всё мертво,
Быков одолевает естество,
Атланты оскотинились, застыли,
Так воздух пуст, что неподвижен свет,
Что Клодтов конь анфас и в профиль – блед,
Что наледь – миф о масле или мыле.

Не жизнь, но тень в падении видна,
Что более Фонтанка холодна,
Чем Млечный путь и высохшая Лета,
Что книга распадается сама





На прошлое и горе от ума,
На свет и тьму, на безнадежность света...



На полусумраке качелей –
Багрец качающих лучей,
Чернеют стрельчатые ели
Кариатидами ночей,
Собака взвояет дурковато,
И грановитая палата
В единый миг меняет свод
На опускающийся полог, –
Капустницей, чей век недолог,
Порхнёт жасмина хоровод.

И вновь лучи летят без цели –
В сплетенье лунной колыбели,
К ручью, бегущему в ночи,
Качающему тень свечи...



А снегу-то нападало в апрель! –
Как будто мартом вынесло плотину,
И в небесах, садящихся на мель,
Сорвало золотую середину –
Всё спуталось, домов не разгляжу,
Дороги обращаются в обрывы,
И зимний день, подобно миражу,
Исполнен торжества ретроспективы... –
Победа? – Поражение? – весна,
Привычная на северном Урале,
Снега идут, как мы – путём зерна,
Как тишина в пустом органном зале,
Как точка «а» морским путём до «б»,
Восстав водой, закончившись приливом,
Как долгий путь из марева – к тебе,
Свернувшийся навязчивым мотивом,
Апрельской ранней ноткой ледяной,
Дорожным вихрем, сахарным оконцем,
Падением капли за спиной,
Встречающим всю эту влагу солнцем...



Сады Гесперид

Не нам склоняться, но над нами, –
Природе, матери, звездам, –
Небес тускнеющее знамя
Скользнёт по радужным мостам,
Сокрыв, что яростным порывом
На миг счастливилось узреть, –
Так яблоку краснеть наливом,
Так позже дереву – гореть.

Не говори, что жизнь иссякла,
Когда состарился Хирон,
Когда от подвигов Геракла
Остались, как сизифов склон, –
Конюшни, гидра, пёс триглавый,
Химера, одичавший сад...
Ушедшему не надо славы, –
Над прУдом яблоки висят...

Склоняясь ниже с каждым вздохом,
И полнясь прелестью земной,
Они ведут отсчёт эпохам
Над отражённой глубиной.

Сады Гесперид - 2

Не знаю – чем мы здесь ведомы –
Любовью? – прелестью иной? –
Небесные бушуют грóмы,
Уходит лава в перегной,
Над виноградниками – птицы,
Запахнет ледяным вином,
Тоскливым бешенством лисицы,
Гончарным кругом и пшеном,
Айвой, инжиром, земляникой –
Чего в воспоминаньях нет! –
И память кажется гвоздикой,
Иль, как болотный бересклет, –
Уводит в пустоши, где влажно,
Где можжевельник и осот,
Где мне становится неважно, –
Каких касаемся высот,
Но голоса, их перекличка, –



Лечебник, перечень примет, –
Синичка, птичка – невеличка,
В которой музыка и свет.



Мне и не снится жить века, –
Недаром в юности дивился
На стариков лет сорока, –
Теперь мой возраст удлинился,
Перевалил за пятьдесят,
А всё желанья не иссякли,
И рядом дети голоса
Лягушкою в объятьях цапли.
Мы схожи воздухом, лицом... –
Манеры, жесты – так обличье
Дарит нам счастье – и с концом, –
Быть может каменным величье, –
Живым – не нужно высоты, –
Пойти на берег, искупаться...
Калины лёгкие кусты,
Дорога, смена декораций.

Из цикла Дом

Наш быт и есть – вода и пища, –
То кипяток, то холодец; –
Полуразрушено жилище,
Где ладил сыну праотец
Пасти стада, вкушать похлёбку,
Любить жену, кумыс, халву,
Изобретать бутылку, пробку,
Пустыньку и занозу льву.

Остались печка, лавка, пряжа,
На вешних водах дикий хмель,
Зелёных трав перепродажа,
Базальты северных земель,
Собака, кошка, бурозубка,
В соседях – пустоши, карьер,
Ни первородства, ни поступка –
От полусфер до полумер, –



От облаков к болотам близким,
От хвойных – к лиственным лесам,
От колыбели – к обелискам,
От равновесия – к весам.



Пепел Клааса меж роз и тюльпанов,
Дамбы, дороги, мосты... –
Это не шашки в стране великанов,
Не музыкантов листы, –
Море давно поднялось над стаканом,
Реет, как флаг, над страной,
Скрытой то вереском, влагой, тюльпаном,
То ветряками и хной –
Серым песком, проникающим всюду,
Медленным, с рыжей искрой,
Пепел Клааса добавлен в посуду,
В камень, сидит под корой, –
Только страна больше Ламме Гудзака,
Чем её выдумал Тиль, –
Не одуванчиков, алого мака –
Серых, всплывающих миль.



На серой облачной поддёвке
Ни пятен радужных, ни дыр, –
И я не радуюсь обновке,
В которую оделся мир,
Хотя снега метут отменно
И пелена у самых глаз,
И холод бродит внутривенно,
Как по квартире ловелас, –
А там, в углу, за будуаром,
Как долгожданный приговор, –
Свеча. – Чуть теплится, с нагаром, –
Мигнёт – и кончен с жизнью спор... –
Но парки нежное касанье
Ему, как холоду внутри,
Всё мнится пылом ожидания,
Как мне – свеча и фонари. –



Из радуги уходят краски,
От неба – низкий небосвод,
И чёрный дым, как чёрт в коляске,
Над ледяной пустыней вод.



Всем странствиям по суше суждено
у водного простора завершиться,
постигнуть то, что под ногою – дно,
а за спиной – зарница, как зегзица,
и счастье, наполняющее бег
по водам, – беспредельнее молчанья, –
пусть лёгкий бриз, качая твой ночлег,
под утро не оставит обещанья
запомниться, – да Бог бы с ним, былым, –
ладони делятся линией прилива,
и каждый вдох и впрямь неопалим,
как акварель из воздуха и дыма,
и не весло иль дудочка в руках –
то книга, то опять пригоршня влаги, –
ты думаешь о разных берегах,
как о цветных фигурах из бумаги....

Ирина Каренина

Минск

*Родилась в Нижнем Тагиле (РФ), последние 2 года живет в Минске.
Журналист, редактор, член Союза журналистов России. Окончила
Литературный институт им. А.М. Горького (Москва). Автор 5
книг стихов, лауреат премии журнала «Знамя».*



Хочешь курить – кури, встряхивай светлой гривой,
Страхивай пепел в стаканы или цветы.
Явор и иволга – в имени твоём, Ивар,
Я ничего не должна такому, как ты.





И – никому. От непрошенных ваших любовей
В сердце один лишь горький и жгучий стыд.
Дружба навек оборвана на полуслове –
Дальше осталось терзаться и делать вид.

Я больше не верю в страну, где мне станет лучше:
Для тех, кто сделал свой шаг, остаются ли рубежи?
Звон тетивы – в имени твоём, лучник.
Хочешь стрелять – стреляй, я тоже устала жить.



Здесь хорошо выздоравливать
И говорить о судьбе...
Утки в реке, как кораблики,
Хлеба им, воли тебе.

Встанешь над тихой Свислочью,
Да папиросочку в рот...
Будто бы беличьей кисточкой
Кто-то по сердцу ведёт.

Кто от обиды не взрыдывал?
(Горе, боли и боли).
Улицы б эти не выдали,
Камни бы эти спасли.

Горечь почти залетейская
В горле цветёт, как герань.
Но можно пить европейскую,
Всю золотую, шампань.



Жанар Кусаиновой

Богоравны и неблагонравны,
Распрощальны во веки веков,
Удалимся походкою плавной
Под негромкую дробь каблуков.

Однозвучно гремит что-то где-то –
Колокольчик? Да вряд ли, скорей,



Стаканы в привокзальных буфетах
Под присмотром ночных фонарей.

Поездной ли мой сон бестревожен,
Или – сбывться усталой любви,
Полотном ли железнодорожным
Забинтованы раны мои?..



Ведь это все – как будто смерть,
Как будто жизнь ушла навеки.
Рубеж годов – огонь и твердь,
Обид мучительные реки.

Ведь это все – как ты упал
На ледяной дороге зимней:
Колеса, плоть и кровь, металл...
Ведь все – как «Боже, помоги мне!»),

Как в колумбарии стоишь,
Опять сверяясь – имя, дата...
Как в кухне убиваешь мышшь
И мерзлых птиц несешь из сада,

В дырявой варежке – чижа,
Дыханием отогревая.
Как гладишь лезвие ножа,
А мир в тебе – как ножевая,

Как с полумертвою душой
С дарами бедными своими
Под жгучим снегом в дом чужой
Бредешь кварталами глухими.



Валентине Беляевой

заросли ромашками пустыри
по дороге к дому, хоть год гадай,
«да» и «нет», родная, не говори
черно-белых платьев не покупай,





поезжай на бал, ни к чему слова,
ты найдешь еще, отчего взлететь,
что с того, что белая – голова,
лишь бы крылья били по высоте!
лишь бы воздух крепок был под ногой,
и иди, как шла по воде за Ним –
в безоглядной вере, в любви нагой,
под ногой вода, над водой огни...



Гроза приходит со стороны реки.
Гроза ломится в дом со стороны реки.
До тебя – не дальше вытянутой руки.
До тебя – не ближе полутора тысяч миль.

Гроза пытается выбить окна –
Рамы пора менять.
Гроза выкрикивает скабрзности
Про тебя и меня,

Ветру велит отхлестать меня по щекам –
За все про все, за прошлое и наперед.
А после медленно и степенно уходит в сторону гор,
Как будто ничего не случилось, уходит в сторону гор,

А я остаюсь стоять у окна, шептать,
Прижимаясь лбом к потекам, к потокам дождя:
«До тебя, моя радость, не дальше вытянутой руки,
До тебя, моя радость, не ближе полутора тысяч миль...».

My Blueberry Nights

...Будет подруга звонить из Тарту,
Задыхаясь от счастья: держи кулаки, мол,
Ругай меня завтра, люби меня вечно.
Апрель выходит на берег марта,
Шапку подснежников опрокинул,
Веселый, радостный, бессердечный...

Будет пирог – ледяная черника
(Собирала летом), пирог с мороженым,
Бери себе больше и слаще, ну же!





В другой раз я испеку с ежевикой,
Такой же синей и невозможной,
Как отблески звезд в апрельских лужах.



Я никому тебя не говорю,
Не повторяю и не поверяю,
Я ледяная жертва январю,
Как снежноцветник, выросший по краю
Метельного оконного мирка,
Где фонари и лес за фонарями,
Куда меня не нужно отпускать
Полночными и зимними дворами...



Речь обрастает фигурами, губы – льдом.
Я – бубенец от колпака паяца.
Несколько строчек в столбик: через силу, с трудом.
Зато я умею смеяться и не бояться.

Я провела полжизни в себе – как в чужой стране,
И глаза N.N. мне заменяют солнце.
Я научилась многому: латыни и седине,
Нервам, снотолкованию, стихоплетству,

Только не жить. Я в целом ничто в нигде.
Собственно, мне нравится быть отражением
В глазах N.N. Шагать в глубокой воде
По самое сердце – до полного погружения.

Да-да-да, мой хороший

Да-да-да, мой хороший, я несовершенна,
может быть, впервые в жизни я признаюсь в этом так:
да-да, мой хороший, я несовершенна,
я не умею прыгать с парашютом,
я ненавижу манную кашу,
я плакса-Пьеро,
у меня сумочка Гуччи,
у меня розовая шуба,





у меня черные банты,
и это время – не мое время,
это время не для таких, как я.
Да-да, мне нечего скрывать, я несовершенна,
но
для меня поет Дженис,
для меня поет Лайза,
мне улыбается Мэрилин.

Да-да-да, мой любимый,
все эти шутки пахнут «Диором» и кровью,
а я реву, когда рвутся колготки
или если мне кажется, что ты меня больше не любишь.
Видишь, мой милый, я несовершенна,
я так потрясающе несовершенна,
я так здорово ничего не умею,
я так боюсь собственных глупостей,
я люблю кабаре,
я умею только шляться по барам,
сочинять чепуху в глянцевые журналы,
в моей бум-бум-голове крутятся блюзы,
мне невелика цена в этом мире,
но
для меня поет Дженис,
для меня поет Лайза,
мне улыбается Мэрилин.

Да-да-да, мой хороший,
между нами многое кровотоцит,
ты держишь мое сердце японскими палочками,
оно рассыпается лепестками имбирной стружки.
Видишь, мой хороший,
все, что я знаю о счастье –
это когда твоя рука касается моего плеча.
Я совсем не терплю боли,
я не умею ходить по улицам,
я ничего не знаю о мире
и не понимаю того, что ты мне рассказываешь.
Все, что я знаю:
мир – это блюз,
мир – это джаз,
мир – это Голливуд,
и здесь
для меня поет Дженис,
для меня поет Лайза,
мне улыбается Мэрилин.



Мария Серова

Москва

**Моему ангелу
(Когда умирают мамы, дети сиротеют...)**

На небо звездное лети
С дождем июльским вместе!
Но МАМУ не забудь найти
Мою среди созвездий.

Всего на свете тяжелей
Мне жить сейчас без мамы.
И я хотела вслед за ней...
Но ты сказал, что рано.

Хоть избавленья от невзгод
Мне время не приносит,
Ты обещал, что все пройдет,
Что Бог меня не бросит.

И по утрам теперь рассвет
С надеждой я встречаю.
ТЫ ПЕРЕДАЙ ЕЙ ТАМ ПРИВЕТ!
СКАЖИ, ЧТО Я СКУЧАЮ ...

Ну, в чём, скажи, я виновата?

Ну, в чем, скажи, я виновата?
Возможно в том, что не богата,
Не выставляюсь на показ,
Как это принято у вас?
Не одеваюсь от “Версаче”,
(Но это ведь так мало значит)
Купить не в силах что угодно,
Зато, ты знаешь, я свободна!
Могу спокойно, не тайком
Пройтись по улицам пешком.
И для меня ты зря берег
Свой знаменитый кошелек.
Все дело в том, что жизнь свою
Я никому не продаю!





Нет, не по мне звонят колокола

Нет, не по мне звонят колокола,
И сердце плачет не моё от боли,
Не у меня закрыты зеркала,
И крест не мне поставлен в чистом поле.

Не я молюсь за сына по ночам
Портрет его слезами, омывая.
И в Храме Божьем не моя свеча
Стоит одна, тихонько догорая.

И стар, и млад не по моей вине
В кровавый ад уходят без возврата,
Но тяжело мне в безмолвной тишине,
Когда хоронит брат родного брата.

И посмотреть в глаза я не могу
Безногому ровеснику-солдату
И в прибранном кладбищенском саду
На страшную с чертой двойную дату.

Злодейка

Мечтала, любила,
Ждала словно чуда!
Из тысячи сказок
Твою не забуду!

Почти каждой ночью
Ее я листаю,
Из тысячи принцев
Тебя угадаю!

ЗЛОДЕЙКА старалась,
Расставила сети.
Звала я на помощь,
Но ты не ответил ...

И пусть все, что было
У нас – только случай.
ОТВЕТЬ МНЕ, ЛЮБИМЫЙ,
НУ ЧЕМ ОНА ЛУЧШЕ?



Но друга нет

В земле, укрывшейся листвой,
Уснул мой Друг. Мой верный Друг.
А если б знал он, что сейчас
Дожди вокруг! Темно вокруг.

Что бабье лето не пришло
К нам в этот год. Тяжелый год.
Он, как обычно, мне б сказал:
Не хнычь, придет. Оно придет!

Он мне б сказал, что надо жить,
И, чтобы мир наш стал теплей,
Друг другом нужно дорожить
И быть добрей, еще добрей.

Что ночь не вечна на земле,
И будет день, и будет свет.
Что впереди еще вся жизнь ...
Но Друга нет. И жизни нет ...

Ольга Олгерт

Кёльн



Время – глупый, немой шарманщик
Вновь разводит без нас мосты.
Нам бы встретиться, милый, раньше,
В том столетье, когда ни ты,
Ни рассветы в твоей Севилье
Не болели ничьей виной.
Ты, наверное, очень сильный,
Если любишь меня такой –
Укрывающей тьму ночную
Восходящим потоком дня...
И зачем я тебя ревную
К тем, кто сердцем – слабей меня?
Кто не ходит во сне по крышам,
Обгоняя свои лучи,



Кто нигде, никогда не слышал,
Как земля по ночам кричит.

Видишь, в небе дрожит рябина,
Ей, наверное, нужен свет...
Напиши мне в Коринф, любимый,
Даже если Коринфа нет,
Даже если уже разрушен
Дом, в котором родился миф,
Из которого вышли души,
Чтобы вместе смотреть на мир.

Слышишь, гибнет в закате судно... –
Мы с тобой на чужой войне.
Всем влюблённым на свете трудно, –
Нам с тобой тяжелей вдвойне.
Умирая от вечной жажды –
Быть услышанным тишиной,
Отпусти свой корабль бумажный,
Пусть он в небо плывёт за мной.
Пусть сражается ночь – во имя
Побеждающих смерть стихий,
Мы вернёмся с войны живыми,
Прямо с фронта –
В твои стихи.



Расскажи, как построить без мук дворцы
На земле, не попавшей под гнёт столетий,
Если все, кто моложе меня – в отцы
Мне годятся, а все кто постарше –
В дети?

Если цепь парадоксов обнимет стан
Бригантины, стремящейся в гавань к небу,
Если я у правительств античных стран
 Попрошу, как убежища, в снах ночлега,

И наступит седьмой от прощенья день,
Я помилую головы всех бессонниц,
Станет мыслям просторно в речной воде,
И покатится с плеч горизонта солнце,





Разыграется в чреве земли гроза,
Там, где в тихую полночь,
Под серым смогом,
В синих сумерках вспыхнут твои глаза, –
Освещать мне во тьме бытия дорогу,

Там, где я босиком за судьбой бегу,
Обнимая пространство любви за плечи,
Где апрель, словно возглас, сорвётся с губ,
Чтобы стать прилагательным майской речи.



Прислушавшись, как всходят голоса
Тюльпанов в перламутровых сорочках,
Мы снова в полнолуние выйдем в сад
Искать в листве черёмух голос ночи,

Смотреть сквозь туч густую акварель,
Как, звёзды разогнав на небосводе,
Две тысячи двенадцатый апрель
Над окнами судьбы негромко всходит,

И я лечу пылью на крыльях птиц,
Над лицами задумчивых прохожих,
И ты меня смахнуть с густых ресниц
Как новую весну, уже не сможешь.



Моя весна ещё не началась,
Но смех мой был с рождения весенним,
Я слушала по будням воскресенье,
А будни робко вслушивались в нас-
Растущих на камнях своих молитв,
Разбавленных апрельскими лучами,
Где бродит век, чудес не замечая,
Примерив пояса чужой земли.
И в наших снах гуляют до зари
Самнитских войн уставшие герои,
И ждут новейшей эры, где откроет
Ворота искушений древний Рим,
Где сходит ночь с высокого крыльца,





Играя на античных инструментах,
И мы идём пешком из Беневенто,
Где дремлет в небесах эфирский царь,
И тают времена в дымящей мгле,
Где, в облаке предсказанной мороки
Потомки лангобардов – наши строки,
Друг друга рассекретят на земле.



Струится весна, там, где всходят посевы звёзд,
И движутся тени надмирных ночных трамваев,
И мост между нами – всё тот же Дворцовый мост –
Протянут над бездной,
Стоит на небесных сваях.

Там ждут изменений в лукавой своей судьбе
Растущие в лето, набухшие снами вербы.
А я поднимаюсь на пятый этаж, к тебе,
В твой дом, где по чашкам не чай разливают –
Верность.

Где, судьбы сверяя, начнётся иная жизнь –
К рассветам над Мойкой и песням Невы причастна.
И лайнер над Пулково
Будет всю ночь кружить,
Чтоб утром, смеясь,
Приземлиться в районе счастья.



Ночует век в платановой беседке,
Сжигая предзакатные лучи.
И слышится: дрожит роса на ветках,
Но это мы, не падая, звучим –

Фантомы слов, кочующих в пространстве
На спинах неприрученных ветров,
Где голос твой и морок мой германский-
Заложники весенних вечеров –

Покинут лет беззвучные долины,
Где гаснет безразличия гротеск.





И снова журавли весёлым клином
Разрежут на рассвете ткань небес,

Жизнь станет невесомей и бездомней,
Ускорится земли апрельский пульс,
И ты плеснёшь Невы в мои ладони,
И я проснусь.



Надеваю наушники,
Слушаю тишину.
Как играет оркестр!
Кто учил вас играть без фальши?
Я в молчании мира, как солнце в листве, тону,
Эй вы, кто там в эфире, прошу вас,
Играйте дальше!

Собирая в звучащий ночной немотой ковчег
Всех собратьев по мысли, кто нежностью был приручен,
Что за прихоть ,скажите – разгадывать жизни бег,
Словно душам без вечных загадок живётся скучно,

Словно есть ещё время – навёрстывать дни без сна,
Разрезая на миги обрывки цветных событий...
Посмотрите на жизнь,
Что в проёме окна видна –
Где-то там, за Венерой – дымится её обитель.

И не важно, кто будет придумывать новый сорт
Райских яблок в садах, чьи садовники правят бездной,
Если чья-то душа разгадает земной кроссворд,
Чтобы дальше разгадывать новый кроссворд –
Небесный.



Звенят леса и шмель во тьме гудит,
Разносят в небе письма почтальоны,
И март висит изящным медальоном
На выпуклой веснушчатой груди
Берёзы, окунувшейся в рассвет
Тоской своей, воскреснувшей под утро,



Где сердце окольцовывает мудрость,
За давностью прошедших в небе лет.
Так я тебя не жду,
Забыв слова
Февральских лун,
Где боль – всегда в зените,
Но длится новый день,
И всходит Питер
В зрачках моих,
Где плещется Нева,
И мы с тобой, обнявшись, под мостом,
Целуемся, не слыша крики чаек
И долгих дней, где нас не разлучает
Ни шторм в судьбе, ни тонущий паром
Безвременья,
Где выходец из тьмы
Уже считает первые потери,
И век вздыхает, будто бы не веря,
Что двое под мостом – уже не мы



Когда сверчки читают в небе Шелли,
Я открываю снов своих тайник,
Услышав звон часов и тихий шелест
Танцующих на полках старых книг.

Они поют в лесах моей квартиры,
Где каждый вздох души – журчащий стих.
И даже если тишь стоит над миром, –
Я слышу их.

Так в ночь смотрел заоблачный оратор,
Что бредил нерассказанной виной,
Так вслушивался утром триумфатор
В дыхание эпохи за стеной,

Так души начинали восхождение
В предсказанность, где страхи сожжены,
Где слух мой – необычный от рожденья,
Уловит пульс разбуженной весны,



Где сердце не заблудится в потёмках
Небесных сфер,
В провинции иной,
И солнце за окном, прибавив громкость,
Объявит во вселенной выходной,

Где жизнь моя, идущая в начало,
Читабельна и в профиль и анфас,
И все, кого ещё не повстречала, –
Я знаю вас.



Виват земле, дождавшейся весны!
И нам виват, паломникам печали.
Мы столько раз весну свою встречали
В земной оранжерее тишины,

В стране аллюзий, там, где парафраз
Прошедших лет уносит в Лету ветер,
Где с губ моих соскальзывает вечер,
Как – будто видит жизнь последний раз,
В ночной тиши, примерив новый нимб,
Танцует одиночество вприсядку,
И молния распахивает грядки,
Прикрывшись в небе именем моим.

А ты молчишь, пока звучит гроза,
И снова отправляешь письма в Спарту,
Где слышен голос ветреного марта,
И у него – смотри – твои глаза.





Таня Скарынкина *Сморгонь, Беларусь*

Чёрные ночи Маруся

Зеркало можно к стене прислонить
ерунда что с помойки
нальем и чокнемся

постарайся меня ты Маруся понять
что взрослые – битые мячики
были из юности выключены не сразу

к ним и пальцем никто
можно даже сказать не притрагивался
они сами допрыгались

только курящие
и дающие прикуривать
продолжают выпендриваться

только курвы париками кровоточат
и не прекращаются парни
с врожденной сединой между горбиками

.вот ты говоришь черновики
а нет здесь никаких черновиков
и сроду не было

для чего они
злые сырые записки
если Маруся отчизна не любит меня?

Про себя

Бывало раздвинешь квартиру
до невероятных размеров
и с грохотом выставляешь
отметки чужим поступкам

а ныне сидишь в уголочку
заброшенного помещенья





бесшумно поводишь глазами
вверх-вниз вверх-вниз вверх-вниз

затем незаметно проводишь
тугим языком вдоль десен
пожар под небом слюнявишь
кряхтишь и поешь про себя

Гренада
Гренада
Гренада
Гренада моя.

Гангстерское романсеро

1
Можно и в гангстерские времена
прожить как ни в чем не бывало

.заигрывать с гангстерами
питаться из рук гангстеров
танцевать под гангстерские песни
гангстерские танцы

2
я помню чувство безысходности
когда выходишь из машины после ресторана
домашние щетинятся в рассвет
наперебой высказывают правду о тебе

.а ты стоишь не понимаешь
спина прямая-прямая
оглядываешься вокруг в поисках сочувствия
и не находишь его

3
к обеду над тарелкой застывая
и взгляды тетушек порхали сверху вниз
едва касаясь края ложки
понапрасну
напоминали о себе коллекции значков и марок
фотографии артистов

4





с востока в два часа являлся первый жених
неся на блюде вьюжном бакенбарды ветра
второй подставлял сосульки-усы для поцелуя в три часа
и ледяная гладь стола из-под еды была едва видна
до тех пор пока старшая тетка-надзирательница за холодными
закусками
не позволит нарушить плотный натюрморт стола

.что будет означать что снова
ты слушаешься дудочки семейного мотива

5
за окнами ревет машина уезжая
и увозя дурацкую твою
дурацкую любовь
к двоюродному брату гангстера.

Мама о партбилете

Мама еще и еще перед сном
перевернула квартиру вверх дном
нет партбилета нигде
хоть кричи

мама лежала в ночи не спала
мысленно перебирала места
еще и еще многократно
где мог затаиться билет распроклятый

неожиданно за полночь мама припомнила
что положила билет свой
в карман нелюбимого пальто
которое сдала в комиссионку

кошмар
не иначе попутали черти

мама едва долежала до солнца
с полчаса непрерывно ходила вокруг магазина
пытаясь увидеть через окно
роковое пальто

представляю какими глазами
смотрела на маму продавщица



когда мама вбежала в торговую залу
сразу после открытия

о святое пальто! о святая Марья!
о святой билет в святом кармане!

– Это у нас наследственное – смеясь говорила мама
старшего брата Эдика
вышвырнули из партии
за потерю билета

через годы и годы во время ремонта
братьев пропавший билет
выскользнул из-за иконы
с вечно печальным Иисусом

шелестя пустыми страницами
опустился на грудку мусора.

Восемь

посвящается

Река не принимает перебежчиков
не останавливается и не меняется
малютка сидит над рекой и внимательно старится
а иные постояльцы головогостиныцы
вышли на свет пожилыми

:

1

дядя Эдик Большой
(потому что у нас был еще и Маленький Эдик)
Эдик Большой был очень большой прямо огромный
обладал мощным басом
был солистом известного в городе хора Силикатобетонного завода
в особенности удачными партиями Эдика считались
«День победы»
«Малая земля»
«Колодники»
«Мне приснился шум дождя»
и «Лебеди далекого детства»
(сколько ни искала в интернете эту песню так и не нашла)
Эдик умер летом под утро в возрасте Бродского в том же
девяносто шестом году



на памятнике Эдика Большого написано большими буквами
ТАКИЕ МИНУТЫ МЫ В СЕРДЦЕ ХРАНИМ
из песни про лебедей
как он и просил во время одной семейной гулянки
во время которой каждый из нас предлагал слова любимой песни
для своей могилки
я к примеру хорошо запомнила что хотела тогда
«Гори-гори моя звезда»

2

дядя Митя
ставший мне другом на склоне лет
а в детстве его я боялась и не любила
он был неизменно мрачен когда трезвый
и только пьяный жалел меня за плохое зрение
плакал
рассказывал щемящую историю о том что «когда я приехал в Сморгонь
ты была вот такая..»
и показывал указательными пальцами
расстояние длиной с молочную сосиску

3

дядя Владя
который во время застолий
неизменно включал электрический свет
даже если солнце жарило из огорода
на Пасху такое бывало часто
все кричали
– Владя не трэба!
– Дык цёмна ж, – отпирался Владя
и все смеялись его включательному упорству

4

дядя Славик-шахтер
его я почти что не знаю
он красивый но не красивее дяди Мити
однажды я решила спросить дядю Митю
когда мы курили
во время одного из домашних праздников тайком на балконе
тайком – потому что у него Сердце
а Приличные Дамы (то есть я) не курят
и я задала вопрос давно вертевшийся на языке
– Дядя Митя какво быть красивым как Вы дядя Митя?
он хохотал какое-то время тряся седеющими кудрями
изгибая резные губы



– Никогда я себя не считал таковым!
это звучало правдиво

5

дядя Слава-доцент
во время войны папа и Слава взрывали патроны в буржуйке
папа остался без глаза дядя Слава без руки
дядя Слава многого добился сделался кандидатом наук
я видела дядю Славу в одно бесконечное детское лето
мы ходили в рижский ГУМ покупать ему ремень

6

дядя Геннадий
который вертел меня и крутил и подбрасывал под потолок
под низкую люстру
когда на каникулы меня отвозили к рижской бабушке Рае – папиной
маме
я боялась этого ритуала
тем более зная что он неизбежен
к брату все обращались Генка
и только Генкина жена которую за глаза
окрестили Кармен
называла мужа Геннадий

7

и дядя Эдик Маленький
самый старший в родне
но не самый-пресамый старший
самый старший дядей толком не стал
Болеслав
щеголь сапожный мастер
скоро после войны от болезни шеи
умер в декабре
по легенде скорее всего из-за шарфа
что без шарфа в деревню холодом шел с городской танцплощадки
застудился
ему было 18
вечером заснул а утром не просыпается
бабушка в шутку перетянула его полотенцем
– Болюсь! Падымайся!
а у него рука безжизненно откинулась как мостик перекидной

– Ён быў самы разумны самы лепшы за ўсіх –
живые и старые сёстры вздыхали



у Эдика Маленького
 было циничное чувство юмора
 как впрочем у всей родни по маминой линии
 небесные почти белесые глаза
 а как выпьет вовсе прозрачные
 он был алкоголик как впрочем остальные дяди и папа в том числе
 курил Беломор
 болел на сухоты (туберкулез) как Максим Богданович
 но прожил в три раза дольше
 работал железнодорожником
 придумывал кошкам и собакам
 которые не переводились у них во дворе веселые имена
 мы любили Эдика
 коронным номером Эдика Маленького во время родственных збюрок
 (zbiórka с польск. «сбор»)
 был фокус Втирание Монеты
 дети собирались вокруг стола просторной кухни
 чтобы тихо-тихо следить как Эдик мучительно долго
 втирает монету в предплечье задрав рукав
 когда же восторги расспросы и недоуменья
 по поводу втертой монеты стихали
 Эдик обстоятельно «вытирал» ее на поверхность жилистой руки
 и мы разбредались по дому подворку или сходились в другие игры
 но однажды мы с мамой ходили до Эдика за поздними яблоками
 и когда набрали полные торбы
 зашли попрощаться в хату благодарить
 пьяный Эдик бубнил ни к кому не обращаясь каб помогли разуться
 – Бо не дам рады (потому что не справлюсь – бел.)
 я присела на корточки чтоб развязать шнурки казенных ботинок
 Эдик чужую макушку короткое время поразглядывал
 с бесполезным усердием распознать своего
 и несильно но стукнул
 мама отлично сбросила брата Эдю с расшатанной табуретки
 будто только ждала момента
 я поняла в тот день что мама любит меня и заступится если важное что
 и милиция защитит в случае чего
 жить сделалось надежно и удобно

.не все мои дяди были знакомы друг с другом
 и тем более между собою друзья
 но мамину маму – бабушку Францевну
 знали и повидали каждый со своей стороны



в прохладном домике над летним ручейком и
луговыми колокольчиками
по дороге до речки Вилии

бабушку Францевну зимнюю
посещали и вовсе немногие
разве что в Рождество набивались ужинать до небес
молитвы вознося под маятник Густава Беккера
это были часы и аптечка
там хранились бабушкины квитанции за свет.

Татьяна Крещенская

Ростов-на-Дону



Скажи мне, чей ты видел лик?
Что там – за светом?
Когда уста молчат,
мне страшен твой язык
наречий сумрачных
и песен недопетых.
Каких таких неведомых племён
ты сохранил немое постоянство?

Я помню свет.
Я видела пространство,
и в нём – перекрещение времён.

Последнее «прости»....

Последнее «прости»,
А, может быть, проклятье,
Как Вы могли сносить
Так быстро это платье?
И так стреножить суть
Своей первоосновы,
Забыв, что этот путь –
Сквозь музыку и слово.
И набело писать,





И жить, как вчерновую,
И под ноги бросать
Всё то, что я целую...

Так что же, не с руки,
Иль, попросту, течение,
Не той судьбой строки,
А после -- отречение
От света и дождей,
Что обнимают крыши,
А, значит, от людей,
Что Вас уже не слышат.

Так прежде и теперь, как некогда – любима...

Так прежде и теперь, как некогда – любима.
Как некогда, так и в последний миг
Не ускользнёт холодной стружкой дыма
Весь дым отечества. И кофе на двоих.
Как некогда жила, так и всегда пребуду
Во всём, к чему притронешься рукой...
Забудь, что счастья нет, я не забуду,
Что воля есть ещё и непокой...

Мне будет вечно сниться дом...

Мне будет вечно сниться дом
Под камышовой крышей
И этажерка в доме том,
И за стеною мыши...
И эта лампа, керосин
И говоры людские,
И Фёдор дед – Михайлов сын,
Да бабка Евдокия.
И тусклы бабкины глаза,
Рука по локоть в тесте,
На старческом лице слеза...
В углу темнеют образа,
Которым лет по двести.
Как в карусели: сад и дом,
И на щеке слеза...
И этажерка в доме том,
И образа, и образа...





Чтоб не сорваться с крутизны....

Чтоб не сорваться с крутизны
Своих январских песнопений,
В моём доме до белизны –
В снег – раскалённые ступени.

Но почкою взорвётся март,
И я опять во власти чуда –
И риск, и горечь, и азарт,
И вдохновение – откуда?!

Темнотою бездорожною...

Темнотою бездорожною
Бродят, не видны при свете,
Как с сумой, душой порожнею,
Злые маленькие дети.

К ним словами не пробиться,
Накормить никто не в силах,
Здесь хлебам не преломиться...
По каким их снам носило?

И кому они приснились,
Под какими небесами,
Чтобы души воплотились
В то, во что не знаем сами.

Где наш дом? И где она, отчизна?...

Где наш дом? И где она, отчизна?
Что согреет нас в хрустальной мгле?
Может, мы, как дети, так капризны,
Что любви нам мало на Земле?

Без неё и с ней мы одиноки,
Где-то там, но где – наш дом родной?
А любовь скрывает лишь пороки
Нашего земного, дорогой.





А снег лежал ещё не талый...

А снег лежал ещё не талый,
Но речь не зимнею была,
И ты, мой ангел запоздалый,
Ко мне простёр свои крыла.

И, словно злая неизбежность,
Слились во мне все времена...
Покой, безропотность и нежность,
Души мятежность и вина.

И тогда, неторопливым слогом...

И тогда, неторопливым слогом,
В том глухом, метельном январе
Я ночами говорила с Богом,
Призывая Музу на заре...

Каждая строка казалась явной,
Вера – знает, высота – молчит.
Тайный смысл вещей постигнет равный
Слову воспалённому в ночи.

Луноцвет расцветает как вздох...

Луноцвет расцветает как вздох,
Распрямив лепесток среди ночи,
Видно, солнца он видеть не хочет,
Коль ночным его выдумал Бог.

Полнолуния свет голубой
Луноцвет пьёт как будто от жажды,
И, проснувшийся ночью, однажды
Вздох его принимает за свой.

Паутель, ипомея, вьюнок –
Луноцвет, недоверчивый к свету,
Пьёт полночного воздуха сок
И сияет в ночи до рассвета.



Юлия Архангельская

Москва



всё кончается на свете
заплывает рыба в сети
попадает на крючок
нет рождения и тленья
нет вины и сожаленья
всё фигня и пустячок

я сю-сю – а ты молчок

я и узник я и клетка
я цыплёнок и наседка
я не я и ты не ты
всё дички да самоучки
буквы-знаки-закорючки
на обрывке пустоты



Поговорили между делом, –
и смыслы выпиты до дна...
сияя обнажённым телом,
мужчину манит новизна.

Его душа спешит вторую
и третью завершить любовь –
себя, бессмертную, шифруя
и в плоть впечатывая вновь,

и, преисполненный отваги,
он оставляет на бегу
офорт на девственной бумаге,
крыло воронье на снегу.



и как всегда забудем мы
что в наступлении коварном
мистический приход зимы
не совпадает с календарным

нас клетчатый укроет плед
и вспомним что в какой-то мере
ни за окошком жизни нет
ни в нафталиновой пещере

и остаётся умирать
или разрушить эту зиму
и в снежном крошewe сгорать
найдя огонь невыразимый



соловьиная роща набухает влагой
бессловесный ветер летит скользя
голова склоняется над бумагой
только горечь свою рассказать нельзя

а послушные девочки идут рядами
а овца заблудшая бредёт в кусты
за окном вода шевелит перстами
отчего-то стынут её персты



это осени тихое зреньe
это первые капли в стекло
надо сахар купить для варенья
и антоновки пару кило

и оставив пустые вопросы
кулинарный читать календарь
и смотреть как слетаются осы
на сияющий сладкий янтарь



можно больше не любить
не кричать открытой глоткой
потихоньку отступить
равнодушной походкой

кто ты где ты всё равно
а потом за облаками
можно тёплое вино
осторожными глотками



как гулко в оставленном доме
и голос холодный знаком
как трудно на спаде на сломе
себя сохранить целиком
а лето всё длится и длится
сожжённые гаснут слова
и плачет бывшая царица
в пустые свои рукава



она фотографирует холмы
и видит свет на маленьком экране
и тальк ещё не прожитой зимы
слетает на отцветшие герани

и если сердце делает скачок
над ратушей и кирпичным домом
нам не понять куда её зрачок
скользит таким движением знакомым

и утро будто ножик костяной
прабабушкин и нет его в помине
и застывает серою волной
зола викторианская в камине



пока ты плаваешь счастливо
в своём размеренном раю
совсем на краешке обрыва
поймает слово жизнь мою

слепыми буквами напишет
что я бессмысленно живу
как жемчуг нижется и дышит
и снова падает в траву

и рассыпается невольно
души зернистая кутья
и не-собою быть не больно
в дремучих дебрях бытия



Пока с небес сползает шкура,
в лохмотьях красных всё кругом, –
она в норе сидит, как дура,
и некуда уткнуться лбом,

и ждать нельзя, и плыть не может,
и не становится светло,
и только к сердцу лёд приложит,
чтоб не стучало и не жгло.



на свете столько произнесено
что гением и птицей в самом деле
посвистывать в открытое окно
где ветреная вербная неделя

опустошённый покидает лес
влетает в город каменного века
и в поле под названием Дюшес
вдруг поднимает в воздух человека



и волнами проходит по траве
по городской весенней глухомани
и ты летишь в пасхальной синеве
позвякивая мелочью в кармане



мой качается дом и поёт Водолей
и разлуку читает с листа
разломи этот бег этот шорох полей
и увидишь внутри пустота

уйди в эту серую полость тоски
ничего не оставь на потом
и свою непроявленность детскую жги
и скажи обезвоженным ртом

Ты у самого Сердца меня приголубь
защити и укрой поскорей
я одна словно рыба летящая вглубь
Твоих тёмных бездонных морей



когда я замолчу
когда утихну я
обиды отпущу
и доводы забуду
и в воздухе ночном
протает полынья
и хлынет тишина
ничья и ниоткуда

и я остановлюсь
и перестану врать
с соломинкой в руке
как будто на пороге
свободна и пуста
как чистая тетрадь
в веселье о тебе
в молчании о Боге



Клумба

ПОЭМЫ





Александр Белоус

3

Александр Белоус
Харьков

Осень

Виктории Бразник

Запев

Октябрик звал вполголоса,
зданий обрызгав стены.
Граждане, я вчера познакомился
с девушкой необыкновенной!

Дождь (Мелькали улицы.)
лил. (Не замечали.)
Зонтик - (Шли, не хмурились.)
крыша. (Пили чай

в Оперном – на колкостях.)
Вечер. Ветер. Скверы.
Граждане, я вчера познакомился
с девушкой необыкновенной!

Взошло неона солнце.
Мне до сих пор не верится.
Слушайте ВСЕ, в ком бьётся
человеческое сердце.

1

Бабье лето давненько прошло,
а душа паутинкой витает.
Ныне сгасло какое число?
Помолчу у окна, вспоминая.

Темень. Ночь. Но мерещится свет.
И сухим из водицы не выйти.
Хоть страшусь ненадежных примет,
ноги сами несут из укрытья.



В небесах облаков мишура
затекает дождище унылый.
Всяк бывало у нас... Не пора ль
поквитаться с нечистою силой?

Вкрут да около чуда плясать
на сермяжной Руси не дозволим.
Коль за дело взялись – рвётся сеть
грузных туч – и Гагарин в полёте.

Зырим в прорубь непуганых грёз:
каждый метит взглядеться позорче
и средь зарева кралечек - роз
выбрать лакомый – в жёны – кусочек.

Я на звёздочку глаз положил
и в лепёшку б разбахался, чтобы
из последних мятущихся сил
добежать к телескопу галопом.

К окуляру мениска припав,
петь: Елена Прекрасна воскресла!
Ни к чему знаменитостям лавр,
если в Лувре славянке нет места.

Я ведь знаю, что мне без Тебя
в Ойкумене бурлящей не скрыться...
Мчится, в рог непрестанно трубя,
к Даме сердца отчаянный рыцарь.

И когда он вскричит «подожди»
восходящей от Солнца комете, –
метеорные хлынут дожди
фейерверком над спящей планетой.

Лишь влюблённые вспыхи поймут,
окна в МИР распахнувши настезь...
Я сегодня с тобой потому,
что Ты меня понимаешь.



Радуйся, Осень!

Я твои слёзы
дарю инопланетнейшему существу.
Её зовут Вика.

Знаете, Виконька,
эта планета нам будет к лицу.

В утреннем парке
солнечная люстра
еле пробивает белесый пар.
Но разве не разожжёт
наши чувства
встреченной листвы пожар?

Костры деревьев
в немой гордыне
устроили яростный каплепад.

Но разве наши
сердца молодые
не с вечностью перестукиваются в лад?

На тихой аллее
игрой откровенной
ветер тревожит зеркальность луж.
Но разве не очарованы
очи Вселенной
северным сиянием наших душ?

Нам любы
значительные величины,
чтоб тело пространства мерцало, маня.
Но разве эта
космическая песчинка
не вертится для тебя и меня?

Жизнь кипит
в морях и на суше:
инфузории, рыбы, гады, зверьё...
Но разве возможно
спокойно слушать
озёрное дыхание твоё?



В лугах заливных
 нимфалиды порхают,
травинки склоняются ниц...
Но разве возможно
 забыть колыханье
твоих невесомых ресниц?

Бегут облака
 над горной дорогой
в царство пугливых мимоз...
Но разве возможно
 нежно не трогать
водопады твоих волос?

Лесные пичуги
 затейливой песней
встречают рассвет бытия.
Кто видел
 светлей и чудесней
тебя, дорогая Земля?

Крохотный парк
 и мир огромный.
Где-то погасла звезда.
Неужели я Тебе
 просто знакомый
и своей не назову никогда?

3

Планетарий нас ждал.
 Я хотел показать тебе звёзды –
их безбрежно далёкий,
 безадресно льющийся свет.
Но сезонный туман
 и дождя неуёмные козни
огневые порывы
 фатально сводили на нет.

Как звенел выходной –
 я начальникам плёл небылицы
про приезды родных
 иль подыскивал повод иной...
А когда удавалось
 мне чудом у них отпроситься,
то погода меняла



свой облик, и пел проливной.

В те промокшие дни
я наслушался арий немало,
но в ментовский блокнот
не вписал ни единой строки.
Вдохновенье асфальту
открыто стихи диктовало,
и потоки воды
насыщали притоки реки.

Я окну безраздельно
доверил бесплодные мысли:
небеса монотонно
рекли монолог о тебе.
Ах, зачем на серёжках
горящей рябины повисли
своенравные капли,
как яростный вызов судьбе?!

Отчего меж ветвей
не слышна переключка пернатых?
Почему, заблудившись,
в стекло не ударит пчела?
Ветер в комнату рвётся,
усилив тоску многократно,
и поблёкшие краски
уводят глаза от окна.

Но куда торопливо
несётся свинцовое войско,
заливая безбожно
смирившиеся города?
О квадратный проём
в бурный мир, разберёмся по-свойски
и запомним картины,
что я в октябре наблюдал!..

Созерцание туч
осень мне окупила сторицей:
под шальной листвою
я предельно всмотрелся в себя.
Каждый мыслящий атом
обязан раз в жизни влюбиться,



наотрез позабыв
 постулаты основ бытия.

Я невольно набрал
 семизначный и выдохнул робко
про всемирный потоп,
 обещая вселенский салют...
Но твой солнечный голос
 шепнул в телефонную трубку,
что желанные звёзды
 от нас никуда не уйдут.

Хризантемы, бесспорно,
 в саду подрастут до субботы,
за неделю, возможно,
 циклонов пройдёт полоса...
В понедельник ты утром
 поедешь к себе на работу,
чтоб в халатике белом
 детешек от хворей спасти.

Поликлиника встретит
 тебя суетой несусветной,
но осознанной, ибо
 перед будущим меркнет предел...
Я оставил прощальный
 парад облаков без ответа
и с листа терпеливой
 бумаги на звёзды смотрел.

4

Пробуждённый космос
 мне шептал всю ночь:
«У царя Вселенной
 сказочная дочь.

Очи – блеск Сверхновой
 косы – Млечный Путь.
Убрана в туманность
 правильная грудь.

Ветренный румянец
 лечит задарма.
Об улыбке надо
 написать тома.



А про ножки стройны
и победный стан
слух с галактик сходит ...
Но увидеть нам

редкую походку
девицы-красы
нереально. Только
в странные часы

истинно влюблённый
сможет разглядеть
чудо, погрузившись
в образную бредь, –

ждать шаги любимой
на завалинке
звёздной и, слышав
шорох вдалеке,

без ума сорваться
и лететь на свет... «
Я Тебя увидел
бабочкой! Рассвет?

5

Тем памятным утром, когда бело-синий
схлестнулся с оранжевым в дикой стране,
я ехал в трамвае, и плакал Россини
кипением жизненной силы во мне.

Осеннее солнце лукаво сияло,
и волны восторга ласкали меня.
Хотя от светила тепла было мало,
но сердце хранило избыток огня.

Я плыл в неизбежье, забыв про сраженьё
двух денежных кланов, почти налегке.
В авоське тряслись семеринка, печенье,
а астры пылали в надёжной руке.

Враждебно мелькали – базар, перекрёстки,
заправки, билборды, игорный провал.
Торговля цвела в безобразных киосках,



где градусный яд убивал наповал.
Вам Бог не встречался на страшных дорогах?
Веками молитвы вздымались во тьму!..
Но лица людей говорили о многом,
протестно не веря уже никому.

Я мчался к любимой мирскими путями,
не ведая, что ей о жизни скажу.
Открыться, что – совестливый и упрямый,
и не преступал беззаконий между?

А тучи на город опять навалились,
и дождик привычно ударил в стекло.
Смурные потёки катились в безмыслие,
но чувство к Тебе непрестанно росло.

Оно, как догадка о важном открытии,
сверкнёт в голове и погаснет тотчас.
В тот миг на слепые часы не смотрите,
ведь Время творит невзирая на нас.

Когда же случайно в пространстве пустынном
на зов твой откликнется голос ЕЁ...
Безмыслие мыслило, и неустанно
трамвай углублялся в рабочий район.

Но вот «Кривомазовская» остановка,
а дальше пешочком – к высотным домам.
Ты сразу открыла. Упала листовка
рогатых политиков к нашим ногам.

6

В твой дом войдя из плотной темноты,
я подарил цветы, как символ света.
Мы в этот мир пришли взрыхлять пласты
мечты и в космос запускать ракеты.

Слова мои воистину просты:
в сонете строгом будешь Ты воспета!
Нас тайнами окутала планета,
но кто-то должен править у плиты.

Сестра моя! Так станем мы чисты,
как белые тетрадные листы
и платье, что из-за меня надето.



Сожжём мосты минутной красоты.
Во имя высоты – из пустоты
шагни в объяття скромного поэта!

7

Тело ласкаю твоё.
(Грешен, когда без одежды.)
Стонами ночь захлестнём,
мир соворотим безнадежный.
Мы же – вдвоём.

О эйфорический плен
проникновенных шептаний!
Выше девичьих колен
тайна кипит мирозданья.
Смертный блажен.

Господи, пиршествуй в нас!
Глубже поклоны природе:
это Любовь без прикрас
царственно входит в исподнем.
Кто мы – сейчас?

Ангелы что ли поют?
Звёзды ль энергией плещут?
Бурную радость мою,
счастье, на миг примерещившееся,
слушай, якут...

8

Ты хочешь убедить меня
теплом любовного огня
продолжить торжество творенья.
Твоя земная красота
возникла рядом неспроста
наивом дивного виденья.

Тем днём дождливым, как всегда,
достойно встретить холода
готовилась людская стая.
В метро до слёз рыдал гобой,
и мы знакомились с тобой,
имён своих не называя.



Весь долгий путь я наблюдал,
как лампочки больной накал
мерцал, свидание итожа.
Но сколь австрийца не зови,
понять, чем дышит визави,
увы, с наскоку невозможно.

Мы вышли в грохот городской
и над прозревшю толпой
нас понесло, как в лихоманке.
А ветер бредил и сильнел :
такая маета – предел
для нежной бабочки-южанки.

Мне не узнать, какое зло
тебя на север занесло,
где доминируют метели.
Ты кислород безвредно пьёшь,
не подберёшь размер галош
и крылышкуешь еле-еле.

Ты каждый час – молва права –
порхаешь, как с дерев листва
по поздней осени слетает.
Ты направлением жива:
то высь штурмуешь, то слова
влекут тебя к земному раю.

Когда в надёжном далеке
витала ты в своём мирке
смурных примет не замечая, –
мой мозг знаменьями кипел
и средь нагроможденья дел
уже души в тебе не чаял.
Мне так хотелось уберечь
тебя от посторонних встреч,
увлечь на свет и убедиться,
что и на пальцах мудреца
всплывает юная пыльца
цветов эпохи ясновидца.



Но разве я предвидеть мог,
что это тельце, щек пушок
я буду трогать повсеместно?
Сколь дебри праны не следи,
все философские пути
к гармонии ведут небесной.

Как формы духа описать,
когда витийствует кровать,
а пошлых мыслей – ни на йоту?
Но каждый в быстри перемен –
божественным вещам взамен –
крылит к торжественному взлёту.

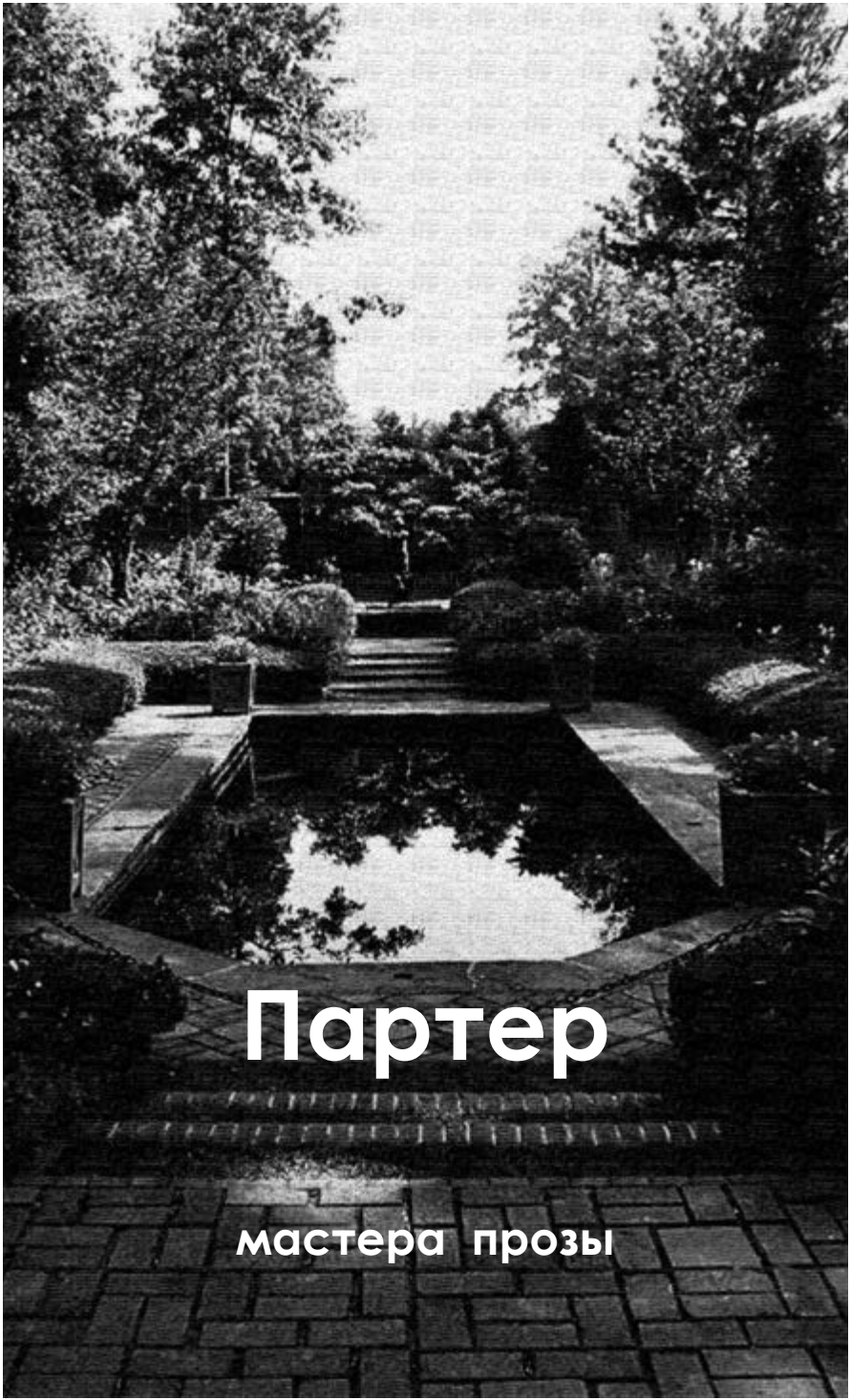
Ведь оторваться второпях
с любимой ношей на руках
от всех несоответствий света
есть достижимый идеал,
который откровеньем стал
для жителя одной планеты.

Как солнце ведренной порой,
твой шёпот путь согреет мой,
мой путь тернисто-беспокойный.
Твоя земная красота
пронзила сердце неспроста,
сойдя с отвергнутой иконы.

И я решительно готов
делить с тобой и хлеб и кров,
от взоров кротких обмирая.
Покинув уютный дом,
на пламя звездное вдвоём
летим же, бабочка родная!

Из первозданной чистоты
мы в чудо наведём мосты,
откроем вечное дыханье.
Судьба начнёт иной отсчёт,
и детский голос всколыхнёт
встревоженное мирозданье.





Партер

мастера прозы



Елена Амберова	3
Анжела Арсенова	11
Александр Минаков	17
Сергей Моисеев	21
Юрий Плющенко	31



МАСТЕРА ПРОЗЫ

Елена Амберова

Харьков

Я там, где Свет свое заметил отраженье...

(По мотивам городских легенд)

Конец XVI века, Озерянская пустошь, Малороссия...

Николка, еще не проснувшись, почувствовал, что озяб и, не без усилия, разомкнул веки. Ресницы дрогнули, и прямо перед собой он увидел высокую травинку с огромной каплей на ней. Густая, высокая трава, в которую он упал вчера на закате, за ночь покрылась большими каплями росы. – И как же я заснул-то? Ох, мамка заругает! – подумал он. Но тут же вспомнил, что еще днем, задолго до того как убежать в чистое поле, чтобы побыть наедине с тем большим, огромным и добрым, чему он не знал названия, он сказал маме, что заночует на чердаке в сене. – Неее, не заругает, – с облегчением подумал он. Улыбка смягчила его личико, и, словно легкий ветерок, смахнула со лба складочку между бровей. – Ох, пора! – вздохнул он, поднимаясь с мокрой травы и озираясь по сторонам.

Над полем стелился густой туман, словно ватные облака, что величаво скользили днем по небосклону, тоже пристроились на ночь отдохнуть в мягкой сочной траве Малороссии. Но вот солнце поднялось чуть выше, туман окрасился розовым светом и начал неспешное движение, то ли развеиваясь, то ли возвращаясь назад в небо. Наконец, в его ватных прорехах проглянул лесок, по краю которого, Николка знал, вилась дорога в Озеряны. Поправив на себе смявшуюся во время сна и мокрую от росы рубаху, мальчишка перепоясался и побежал к дороге, высоко поднимая в траве босые ноги.

Пока он бежал домой после проведенной в поле ночи, мысли его вернулись к вчерашнему вечеру. Он вспомнил, как, не выдержав стенаний матери, побежал куда глаза глядят, отчаянно страдая от собственной малости и бессилия. Мать снова плакала навзрыд, ругая отца, что ушел в казаки, татар, что набегают на наши земли, заставляя прятаться в лесу, чтобы выжить, разорение и что-то еще, ее собственное, женское, что Николка еще не понимал, потому как был слишком мал. Он бежал долго, не зная, куда он бежит и зачем. У него не было сил выносить слезы матери потому, что они заставляли его исторгать из себя град собственных. Но он считал себя уже достаточно большим, чтобы стыдиться их.





Прибежав в чистое поле, он кинулся в траву и дал слезам волю. Наплакавшись, он стал шептать слова молитвы, которая вскоре переросла в его личные просьбы к Богу и Матери его. Он просил их помочь его мамке с хозяйством, с урожаем, вернуть из казаков папку и отогнать татар от Малороссии и его родных Озерян навсегда... Он продолжал раскрывать душу всему тому неведомому, которое всегда так явно ощущал в степи под огромным, необъятным небом. Не заметив, как солнце скатилось вниз, спрятавшись за кромкой леса, и окрасив небо в розовый цвет, он продолжал разговор с Богом. Мальчишка то убеждал Его, что раз Он есть где-то, то должен слышать его, Николку, так сейчас нуждающегося в Нем, то вдруг принимался вопрошать: «Где Ты?!».

Время для него летело, и он сам не заметил, как забылся самым сладким сном, каким ему когда-либо доводилось спать. Ему снилось что-то невиданно красивое, и как будто даже чей-то мягкий добрый голос говорил ему во сне что-то очень важное и нужное, что, проснувшись, Николка так и не смог вспомнить. Лишь несколько слов, что молочно-медовым вкусом пришли ночью в его сон, навек отпечатались в его юной и чистой душе: « Я там, где Свет...»

Старый Матвей, знатный озерянский косарь, мастер своего дела, работал в поле уже несколько часов. Солнце вошло в зенит и стало припекать макушку даже сквозь тулью соломенной шапки. Отмахиваясь от пчел и бабочек, Матвей причесывал пустошь, наслаждаясь привычной песней старой подруги – с любовью заточенной косы. «Жжик, жжик, – пела коса... И Матвею казалось, что полевая мошकारа и цикады лишь подпевают ей...

Но вдруг между двумя «жжик» ворвался новый звук – как будто женский стон. Матвей остановился, испугавшись, и перекрестился.

– Не дай Бог, жонка какая в траве спала, а я ее косой-то своей! Боже упаси! – подумал он.

Положив косу, он осторожно раздвинул высокую траву, боясь того, что он может там увидеть.

– Батюшки светы! Что натворил-то! И откель взялась-то здесь!? – воскликнул он.

Из примятой кем-то травы на него смотрели глаза святого лика – Богородицы. Неизвестно откуда взявшаяся в поле икона Божьей Матери лежала в траве, рассеченная косой Матвея на две части. Рядом с двумя половинками, казалось, живого холста, стояла на кочке зажженная кем-то свеча.

– Это ж как получилось-то?! – снова перекрестившись, продолжал изумляться старый Матвей. – Откель в чистом поле Богородица взялась-то, да еще со свечой зажженной? С неба свалилась али как? И





как же я грех такой сотворил-то – пополам образ святой рассек! И чего делать-то теперь? – почесывая затылок, беспомощно бормотал Матвей.

Немного подумав, он поднял с травы половинки иконы, свечу, забрал косу и, продолжая причитать, поспешил домой. Вернувшись в избу, он первым делом прошел в святой угол, прося у Бога прощения за нечаянно совершенный им грех. Затем он как мог, смешав куриное яйцо с мукой, полученной клейковиной приладил две половинки святого образа друг к другу. Полюбовавшись работой, он поставил икону в святой угол и снова зажег найденную рядом с нею свечу. Весь оставшийся день и вечер старый косарь провел в искренних молитвах пока, так же как и Николка, не заметил, как заснул.

Утром, проснувшись, он первым делом поискал глазами образ Богородицы, рассеченный им вчера. Но к его изумлению образа нигде не было. Плеснув в лицо холодной воды из кадки в сенях, Матвей перекрестился и выбежал из избы. Путь он держал в поле, туда, где нашел вчера икону Божьей Матери.

Мысли его вертелись вокруг вчерашнего происшествия и исчезновения иконы поутру. – Неужто все приснилось? – вопрошал себя он.

– Дык ведь помню всё, как наяву! Куда ж девалась-то теперь? Вчерась взялась незнамо откуда, а поутру снова нету её! Что на свете деется! А коли знак Божий, то к добру иль к худу? – размышлял он. – Не... К худу не могёт быть... Богородица – заступница-матушка, не могёт к худу быть! К добру, токмо к добру! Мож, от татар треклятых землю нашу защитит... Вот токмо, мож, привиделось всё мне? И снилось шось дивное... Вроде как город небесный, купола серебряные... Ух, лепота какая ночью привиделась! А я-то и запамятовал спросонья... И вроде как глас какой-то глаголил... Не упомнить ужо... – вздыхал он.

Воротившись в чистое поле, он направился по следам своего покоса к загадочному месту появления иконы. Быстро раздвинув высокие пучки нескошенной травы, он устался на примятое кем-то вчера ночью место.

Такова, видно, была Матвеева судьба в эти дни – изумляться так, что слова не приходили на ум, оставляя его без помощи, один на один с жизнью и ... чудом...

Святой образ Божьей Матери с младенцем на руках смотрел на него с совершенно целого холста... А рядом с образом вдруг забил родник...

Узловатые пальцы старого Матвея долго еще с осторожностью и благоговением ощупывали холст. Ни канавки, ни бороздки, ни следа от его починки – ничего, словно и не касалась святого образа ни острая коса Матвея, ни руки...

А губы его неустанно шептали одно только слово – Чудо!





Найденная косарем в конце 16 века икона ныне известна под именем Чудотворной иконы Озерянской Божьей Матери. И слава ее – исцеления и чудотворения. На месте родника, забившего на месте ее появления, много лет спустя выросла иноческая обитель, а чудотворная икона обитала сначала в Озерянском Предтеченском храме, затем в Куряжском Преображенском монастыре. Впоследствии на зиму ее стали переносить крестным ходом из Куряжа в Харьков, и харьковчане много лет считали ее покровительницей родного города, пока...

Сентябрь 1930 года, Харьков – столица Украины...

Григорий Михайлович Бородай, председатель городского совета, встал в это утро еще затемно. Ночью ему довелось увидеть сон, подобных которому он ни то, что не видел, а и поверить в существование таких видений прежде не мог. Обрывки ночного видения сохранились в его памяти наперекор всем рациональным рассуждениям и не давали ему покоя. Отчаявшись отделаться от навязчивых воспоминаний, градоначальник вызвал машину, позавтракал на скорую руку и отправился на работу.

Прибыв необычайно рано, он сразу же поднялся в свой кабинет. Ночной дежурный, удивившись столь раннему прибытию начальника, поприветствовал его по форме, и когда Григорий Михайлович скрылся в кабинете, позвонил его секретарю Василию. Тот жил неподалеку, на Рымарской улице, поэтому уже через десять минут, немного помятый, но жизнерадостный, Василий заваривал начальнику чай.

Григорий Михайлович неспешно мерил шагами просторный кабинет, то и дело останавливаясь у окна, чтобы бросить задумчивый взгляд на живописные руины за окном. Останки Николаевского храма, взорванного по инициативе НКВД еще в марте, следом за Мироносицкой церковью, будто зияющая рана Николаевской площади, всё ещё возносили остатки своих рук-стен к небу. Зывали ли они к милости новых хозяев города? А может они требовали возмездия?

Постепенно брови Григория Михайловича хмурились все больше и больше, углубляя складку между ними. Закравшаяся же после пробуждения мысль росла и, казалось, крепла с каждым новым взглядом на руины собора, неммым укором терзая его душу.

Тихо, словно кот, поскребся в дверь Василий. Нрав начальника он знал – прогонит, значит, лучше не мешать. Но градоначальник его впустил.

– Доброе утро, Григорий Михайлович, чайку отведаете? – спросил секретарь, появляясь в комнате со стаканом чая в серебряном подстаканнике, и блюдцем, полным кускового сахара.

– Да, да, заходи, Вася. И ты со мной чайку попей, верно и сам





хочешь? – немного натянуто улыбнулся Григорий Михайлович. – С сахарком-то!

– Чего же не отведасть? Я мигом, себе кипяточку налью и вернусь! – обрадовался Василий и, поставив стакан и блюдце с сахаром на зеленое сукно, исчез в приемной. Минуту спустя он уже скромно ставил на краешек другой стороны стола свой стакан в железном под-стаканнике.

– Присаживайся, Василий, потолкуем, – гостеприимно указав на стул, пригласил его Григорий Михайлович. – И сахар бери, не стесняйся! – подтолкнул он блюдце с сахаром к другому краю стола.

– Премного благодарствую, – отозвался Василий и, придвинув к себе стул, сел на краешек, потом не без скромности взял два куска сахара, опустил их в свой стакан чая и принялся размешивать ложкой. С лица его не сходила довольная улыбка.

– А что, Василий, слышал ли ты что-нибудь о подземельях, о которых весь город толкует, мол, под Николаевской церковью вход в них обнаружился? – нарочито равнодушно спросил Григорий Михайлович.

– Слышал, отчего же не слышать! Так ведь про них давно местные знают-то!

– Так и мне расскажи!

– Неужто не слышали? – глаза Василия удивленно сверкнули. – Да как же это! В вашей-то должности и не знать про такое! – с сомнением покачал головой он. – Ну, тогда слушайте. В середине прошлого века в Мордвиновском переулке пожар случился. Мне про то бабка рассказывала. Народу собралось – тьма. Вы ведь знаете, народ, он такой – все ему потеху подавай, все б дивиться зрелищам каким, чужая беда им тоже потеха. Ну так вот, прискакал туда конный жандарм и вдруг как провалится в землю! Прямо с лошадей! Ну, вот тут-то народ и пригодился. Вытащили его всем миром, живого и целёхонького. А провал-то подземным ходом оказался! Но, понятное дело, никто туда добровольно идти не хотел, ход тот изучать. И тогда власти нашли двух пожизненных каторжников и сказали им, что, мол, если лаз изучат, то свобода будет им дадена, и все грехи перед царем простятся. Ну они, ясное дело, согласились. Ходили они под землёю три дня и вдруг вышли наружу в Николаевской церкви.

– Как вышли? – спросил Григорий Михайлович, до этого слушавший, не перебивая. – Они дверь нашли?

– Дверь там, мож, и была. Да они не нашли ее. Пол взломали и выбрались наружу и все!

На этих словах Григорий Михайлович вскочил на ноги и снова подошёл к окну. Взгляд его пронзил стекло и остановился на черном провале в центре руин храма. В мозгу же его снова всплыли картинки ночного сна и голос, настоятельно советовавший ему сделать то, от одной мысли о чем у него мурашки по спине бежали...

– Ну, так вот, – донесся до него голос Василия, вернув его в





реальность. – Затем каторжники те попросили себе еды на несколько дней и снова вернулись в подземелья ходы изучать. В следующий раз они вылезли на свет божий у дома губернатора на Екатеринославской, потом возле Холодногорской тюрьмы, и говорили, что ходы эти аж в Куряжский монастырь вели. И говорят, видели они в подземельях огромный зал, посередине зала – стол, а вокруг него – 12 стульев... Видать для святых апостолов.... Мда..., – задумчиво проговорил Василий. – Вот так-то...

Григорий Михайлович вернулся к столу и сел на свое место. Мозг его работал в непривычном ему направлении, и он настолько изумлялся собственным мыслям, которые так резко изменились после ночного сна, что до сих пор пребывал в состоянии некоторой прострации. Он, убежденный коммунист, который искренне верил, что религия это сказка, придуманная буржуями для бедного угнетенного народа, чтобы поработить его и заставить работать на себя безо всякой платы, вдруг засомневался в собственных убеждениях. Устои атеизма, казавшиеся ему прочными и нерушимыми, вдруг пошатнулись от прикосновения к ним необыкновенно мягкого и доброго голоса из его ночного сна. Словно все, чему научила его партия, оказалось хрупким строением, возведённом то ли на болоте, то ли на фундаменте из сухих веток. И сидя сейчас в своем рабочем кабинете, градоначальник изумлялся собственным мыслям, теряясь в догадках, суждено ли его убеждениям рассыпаться в пыль или увязнуть в болоте.

Закончив рассказ, Василий взял еще один кусок сахара и принялся с удовольствием попить чай. Градоначальник снова встал и вернулся к окну.

– Я странный сон видел сегодня, – вдруг донесся до Василия его отрешенный голос.

Григорий Михайлович то ли забылся, то ли решился поделиться своей тайной, которая мучила его все утро. Василий затаив дыхание от такого откровения, слушал.

– Видел я город в небе... – говорил градоначальник. – Красивый – загляденье просто... Купола серебряные, дома белые, тротуары розовые, будто кварцевые... И вдруг голос... Мягкий такой, добрый... Говорит – возьми Чудотворную икону Озерянской Божьей Матери и спускайся в подземный ход под Николаевским Храмом, там, мол, помогут тебе... И еще что-то сказал, всё вспомнить никак не могу! Все утро мучаюсь, вспоминаю. И так хорошо мне было от этого голоса, так сладко... Словно и правда рай есть, и побывал я в нём...

Глаза Василия, расширившись от изумления, сверлили спину начальника. Рука со стаканом зависла в воздухе. Наконец, совладав с собой, он поставил стакан на стол и, запинаясь, спросил почти шепотом:

– А икона-то где?

– В сейфе у меня, – не поворачивая к нему головы, ответил градоначальник. Взгляд его вдруг приковала девушка, идущая вниз по





тротуару. Такая она показалась ему счастливая, такая удивительная, будто светилась вся светом каким-то необыкновенным.

– А чего в сейфе-то? – удивился Василий.

Григорий Михайлович продолжал наблюдать за идущей по тротуару внизу девушкой. Зрелище настолько поглотило его, что он машинально ответил секретарю, забыв, что выдаёт секретные сведения.

– Чтобы взорвать в алтаре Благовещенской церкви, когда ее уничтожать будем...

– Ох! – донесся до него непроизвольный возглас Василия. – Это матушку-то нашу, заступницу, что ль взорвать хотят?! Ох, она ж столько добра сделала! Столько болящих исцелила, от холеры Харьков спасла, от беды столько народу избавила! За что же с ней так-то?! – Василий сам не заметил, как начал шмыгать носом. Взяв себя, наконец, в руки, он встал. – Пойду я, – пробормотал он, насупившись.

Собрав пустые стаканы, он махнул рукой на блюдце с сахаром, и понурив голову, вышел из кабинета. – После такой вести никакой сахар в горло не пройдёт, ироды! – в сердцах подумал он.

Григорий Михайлович остался стоять у окна. Последние слова Василия о матушке-заступнице набатом стучали в его сердце. – А вдруг Карл Маркс и Ленин тоже не всё знали? – думал он, – ведь говорят же, что любой человек может ошибиться, это ещё древние латиняне доказали. Как-то они так заковыристо об этом говорили, забыл!

Взгляд его продолжал следить за счастливой девушкой. Вдруг она подняла взгляд к небу, и он увидел ее глаза. Свет! Именно такой Свет он видел сегодня во сне! Внезапно те слова из сна, произнесённые нежным голосом, которые он тщетно пытался вспомнить все утро, будто выскочили из темной коробки, в которую спрятали их его рациональное сознание!

«... где Свет свое заметил отраженье...»

На следующий день председатель горсовета столицы Украины того беспокойного времени бесследно исчез. Вместе с ним исчезла и Чудотворная икона Озерянской Божьей Матери. Может быть, именно поэтому Благовещенский собор так и не был взорван, оставшись архитектурной жемчужиной города. А спустя годы он снова стал местом православных богослужений.

Начало 21 века, Харьков...

Катюша играла с мишкой на широкой родительской кровати. Делая игрушке массаж, она обещала ей здоровые ножки и красивую походку. На прикроватной тумбочке стояла маленькая иконка Богородицы с младенцем на руках – уменьшенная копия списка пропавшей





чудотворной иконы Озерянской Божьей Матери.

Мама Катюши, оставив дочку под присмотром бабушки, ушла в храм. Бабушка готовила обед на кухне, четырёхлетняя Катюша, не смотря на артезы на ножках, уже давно была вполне самостоятельной в пространстве большой квартиры. Да, она ещё не ходила так, как другие дети, но ей делали массажи с самого рождения и каждый раз обещали, что ходить она будет красиво. Мама верила. И папа верил. И бабушка с братиком тоже верили. А разве могли они не верить?

Сделав мишке массаж, Катюша нажала ему на брюшко, чтобы тот спел ей песенку, и положила голову на мамину подушку. Глаза ее встретились со взглядом иконки у кровати. Некоторое время девочка и святой лик, казалось, смотрели друг на друга, потом веки Катюши непроизвольно закрылись, и она заснула.

Во сне она оказалась в чудесном городе с серебряными куполами, белыми домами и розовыми тротуарами. Ей было так хорошо там, так сладко...

Когда мама вернулась из храма, она нашла Катюшу спящей на собственной подушке. Положив ладонь на лоб дочурке, мама смотрела на своего спящего ангела, и глаза её светились таким светом, который излучают только глаза матери.

Катюша проснулась, улыбнулась маме и тут же принялась старательно снимать артезы.

– Устали ножки? – ласково спросила мама.

– Нет, мама, мне богородица сказала, что алтезы мне больше не нужны. Я умею красиво ходить, смотли!

Глаза Катюши лучились, как звездочки, мама улыбнулась и помогла ей снять тяжёлые артезы. Катюша спустила ножки на пол, сделала один шаг, потом другой... Мама с удивлением смотрела на походку дочурки и не узнавала её. И вдруг Катюша побежала! Как самый обычный здоровый ребёнок! Но ведь такого счастья они ждали долгих четыре года!

Катюша радостно смеялась, показывая маме, как она теперь умеет красиво ходить и бегать.

Мама вытирала струящиеся по щекам слёзы, прибежали братик и бабушка, поднялся радостный шум, а ей вдруг вспомнились слова, которые она пыталась тщетно вспомнить всё утро. Ночью во сне мягкий, невообразимо добрый, голос говорил ей что-то, утешая её изболевшее сердце, и последние слова его, которые казались ей такими важными и нужными, только сейчас всплыли в её памяти:

«Я там, где Свет свое заметил отраженье...»

Елена Амберова январь 2012

Культурный вдохновитель,

хранитель харьковских легенд, Герман Титов.





Анжела Арсенова

Харьков

Вестник ветра

«...Возможно, это такое себе варево (лучше не вспоминать), где перепутались, выкипели лучшие начинания и намерения, попытки, порывы, словом, все, что обещало случиться, пригрезилось, но не смогло, не задалось, сникло и стало невыносимо-мутным, застарело-родным, неудобным и тягостным. Тем, что не станет ничем, никогда не исчезнет и всегда беспокоит. Это не даст идти вперед, пока не оторвешься от пропахшего пылью хлама, не вырвешь из замшелых уголков дорогие сердцу ошибки и не простишься с этим обросшим неудачами куском невыносимой (сознайся!) жизни. Если дойдешь до конца, тебе предстоит не менее тяжелое испытание...Прошу об одном: не останавливайся (только вперед!) не откладывая, иначе эта бесплодная пустыня тишины вконец высушит, выпьет тебя...»

Мария оторвалась от письма Леонида Наумовича, старого знакомого, эмигрировавшего за границу пару лет назад. Она посмотрела в окно маршрутки. В это же время дверца со скрипом распахнулась, и одновременно с куском июльской жары в салон ввалился юноша, намеренно-бесцеремонно рухнул напротив Марии. Какое-то время она пристально и серьезно смотрела в его глаза, а потом, словно потеряв интерес, равнодушно перевела взгляд.

Она вернулась было к письму, но оно соскользнуло, исчезло. Не было его и под сиденьем.

Она рассеянно заглянула в сумочку, в пакет. Все еще недоумевая, вышла на своей остановке и медленно побрела каштановой аллеей к дому.

– Только прошу не останавливаться (только вперед) не откладывая, иначе эта пустыня тишины вконец высушит, выпьет тебя, девочка моя...

Мария явственно расслышала слова, только голос – едва знакомый – произносил их насмешливо и громко. Она обернулась – и не поверила глазам: незнакомец из маршрутки вразвалку следовал за ней, беззастенчиво читая вслух ее письмо, кажется, не испытывая и малейшей неловкости.

Но самое поразительное – монолог этот предназначался ей. Сердце ее отчаянно забилося, когда она порывисто шагнула к нему навстречу. Рука с занесенным письмом взметнулась вверх, и Мария, как девочка, подпрыгнула за ним. Мгновение она смотрела в его насмешливые глаза, и происходящее казалось ей выдуманным, нереальным.

– Ничего другого я не ожидал от женщины с такими грустны-





ми глазами.

Она была слишком близко, чтобы уловить свежий тон его одеколona. И еще – внезапную его бледность.

Он подошел к ней вплотную и решительно взялся за ремешок дамской сумочки.

Как во сне она видела: человек, лицо которого стало сосредоточенным и старым, выкладывал на траву, как ненужное, ее ключи, помаду, кошелек. Наконец, извлек международный конверт. Он помешкал, зажал конверт в кулаке.

– Самое время откланяться, – галантно проговорил он, чуть заикаясь – и Мария поняла, что он безумно волнуется, говорит через силу.

Неужели это то, чем судьба посещает робких людей, которым всегда недостает одной только искры, чтобы загореться, – только и подумала она о себе, почти не удивляясь этой посторонней, казалось, мысли. Он осторожно собрал все, что было разбросано в траве, медленно сложил обратно и, как был – на одном колене – протянул ей.

.....

Маша совсем не помнила, как добрела домой.

Впервые в жизни она не спешила звонить подруге. Она еще не давала себе отчета в том, что снова говорит с незнакомцем. Мария долго не могла сосредоточиться, разыскивая в сумочке ключи и, уже нащупав кожаный футляр, словно раздумывала. Она, по обыкновению, долго возилась с замком, принаравливаясь. Поискала валидол (но не нашла) и сидела в сумерках, не включая свет.

Она едва различала двух попугаев – неразлучников, дремавших на жердочке и попеременно чистивших друг другу перышки. Шуршащие движения беспокойных птиц успокаивали. Она решила не думать о случившемся.

Долго наблюдала за дрожащими в омуте заварочного чайника живыми лепестками зеленого, с лотосом, чая.

Станный поступок незнакомца прокручивался, как навязчивый мотив, до самой последней капли усталости. Маша еще успела понять, что совсем не боялась этого странного человека. Ей снился остывший чай, разговор, доносившийся словно из-за пергаментной ширмы. Едва знакомый мужчина то и дело брал у нее из рук дамскую сумочку, и Маша явственно различала короткий звук треснувшей ткани.

Вскоре после того, как он явился домой и внимательно прочитал письмо, услышал, как в замке его двери осторожно поворачивается ключ. Кажется, он сумел казаться равнодушным, ведь последние дни он свыкся с неотвратимостью их прихода. Его били долго и методично, и он почти сросся с этой ледящей, вымораживающей душу болью. Теперь он осознавал себя лишь в связи с нарастающим воем, отчаянно исходившим из единственно – уцелевшего подсознания. И пока он сосредоточенно прислушивался и слышал себя, первородному ужасу



не удавалось подчинить себе то последнее, что еще принадлежало ему – прежнему, жизнерадостному. Люди, которые деловито обыскивали квартиру, безжалостно хладнокровно уничтожали дорогие редкие вещицы и вещи.

Но то, ради чего они явились, отыскать им так и не удалось. Того, чье лицо стало сплошной кровавой раной, оставили умирать. Но он выжил: не только из-за чистой воды камешка, главного сокровища и талисмана его деда и отца, сколько из-за миниатюрной женщины, с которой свел несчастный случай.

То и дело перечитывая письмо незнакомого ему Леонида Наумовича, он снова говорил с непохожей на знакомых женщиной, чье имя теперь не казалось обыкновенным. Он подолгу раздумывал, как объяснит ей случившееся, но подобрать слова не мог. В самом деле, кому придет в голову положить за подкладку сумочки схваченный липучкой бриллиант, которому нет цены, прихватив при этом конверт с адресом ничего не подозревающей женщины.

Выздоровливая, он уже без тревоги думал о том, дочитала ли Мария запомнившиеся ему строчки:

«Только знай: новое не приходит без потрясений. Слишком велика инертность старой жизни, засасывающей в небытие своей тишины. Потому, что новое есть потрясение. По этой примете узнаешь его».

Пушистый день, отстоявшийся полновесными кучевыми снегами, оседал под тяжестью снега, добродушно провисал в центре растерянного городка, который всё больше погружался в гамак ночи.

Брошенный на произвол сумерек и тумана, он третий день оставался во власти предновогодней лихорадки. Ничто не удерживало в домах, томление предстоящего выбрасывало на улицы новых людей, ведь вечер был обещанием того, что никогда не сбывается.

Простодушные прохожие устремлялись в центр фосфоресцирующей спирали, излучавшей ясный свет – праздник, вернее, ожидание праздника.

Самые смелые незаметно соскальзывали в очерченный круг, переходящий в воронку, отливающую лиловым, синим.

Они весело исчезали в круговерти снежной пыли, предающей нового пленника в объятия счастливой позёмки.

Однако лохматые ветры особенно ожесточённо преследовали маленькую, закутанную по самые брови, девочку лет десяти, которая едва поспевала за матерью, отчаянно увлекавшей её за руку, прочь от толпы.

Чем отчаяннее девочка сопротивлялась, тем сильнее удерживала её рука, то и дело перехватывая левую, правую руку.

Казалось, вот-вот потеряют они друг друга, но их связывала метель надвигающихся сумерек, и, по-прежнему, разделял шквал снега и



ветра. Внезапно метель окончилась.

Глухая стена мрака оглушила, остановила их. Как последняя надежда, забрезжила щеколда наподобие золотого тельца с кольцом.

Он приглашал тронуть массивную дверь, то и дело исчезающую в позёмке надвигающейся ночи. Женщина привыкла мужественно преодолевать трудности, действуя одинаково: отступая.

Но скрипнула дверь, прозвенел колокольчик, и путницы очутились в маленьком синем помещении.

Вкусный тёплый воздух казался десертом после поста.

И предназначался он, конечно, не им. Они замерли в нерешительности, оглушенные зимой, крепко прижимаясь друг к другу.

Их обледеневшие лица казались нездешними листьями, на которых постепенно проявляются жилы и нити невозможной весны.

Ещё какое – то время они олицетворяли тайну воскрешения, а жалкая улыбка, сползавшая корочкой льда, проявляла новые розовые лица, выражавшие готовность принять укор и окрик.

Женщина едва держалась на ногах от усталости, по-прежнему крепко сжимая руку дочери, которая слова не могла вымолвить от боли.

Но, по привычке, даже не пыталась высвободиться.

Вся тёплая уцелевшая в морозах, жизнь их проявилась на раскрасневшихся лицах, как песок под снегом.

Проступили первые слёзы, так что они напоминали уже старые промёрзшие грушки.

Ручейки растопили длинные морщинки, повлекли их от носа к углам рта. Женщина взялась за сердце и вздохнула.

Она, наконец, вспомнила, что так много лет тяготило, не давало покоя. Наконец, она разжала руку и обнаружила рядом маленькую девочку.

Чем больше она заботилась о ней, тем больше холодела душа: ребёнок этот не был желанным, хоть любить его женщина старалась изо всех сил.

Случаются ещё чудеса – её сердце оттаяло. Девочка, которую, наконец, отпустили, отшатнулась, но не упала, а мягко присела на мешок с игрушками, так что они запели свою песенку.

Она молитвенно сложила руки на груди, закрыла глаза и попросила у кого-то ещё немного счастья, немного тепла.

Когда она открыла глаза, женщины рядом не было. От неё остался только клетчатый старушечий узелок.

От двери потянуло холодком. Свежие снежинки не таяли на чёрном ковре.

Из-за белой ширмы вышли немолодые мужчина и женщина и закрыли дверь. В воздухе запахло молодым жасмином и сиренью, где-то зашептались. Взрослые приветливо улыбнулись и сказали: «Добро пожаловать»

И кто-то тёплый проговорил: »Вот ты и дома».



Женщина ласково взяла девочку за руку и подвела к окну. Там кружилась лиловая карусель с одним только креслицем. В нём сидела белая шубка с белым капором.

И девочка поняла: здесь её давно уже ждали.

Бурые лошадки бежали по кругу и улыбались девочке. Она долго всматривалась в кружок окна и думала, как хорошо, что решилась постучаться в запертую дверь.

Одно только мучило и мешало сосредоточиться: правая рука болела, словно её прижгли горячими щипцами.

Белый телец подошел к ней и уткнулся в ладонь. Но она не почувствовала прикосновения.

Это окончательно убедило её: «Ей снился сон, а настоящая жизнь её только начинается».

Словно смотрит, пошатываясь, под тяжестью сна, взглядывает прикрытыми глазами – дышит веками, подстерегая её встречный сон, чтобы лечь рыжим узким листком в её цветы.

Совпасть, одновременно тонко и жарко произнося тёрпкий пароль, неизвестный ни одному из них до самого отчаянного в своей доверчивости умирания. Она проваливается вслед за ним в забытьё, наступающее, как тень пугливую рыбину в азарте неистового лова, схожего с восторгом рождения. Так, что появляется на губах солёный порез острой сети, саднящей, как песок, скрипучие розовые жабры.

Закон блаженства – доверять самозабвенно и в первый, и в последний миг, по привычке, нервно принаравливаясь к миру, безнадежно прикинув к его всегда чужой, мстительно улыбающейся нови.

Особенно подобострастно, если совсем не веришь в новые пробуждения.

Верблюжонок из тряпки, по-прежнему, словно спит. Торчащие накрахмаленные ушки вот-вот сомкнутся, соприкоснувшись с её взглядом. Развевающиеся ноздри щекочут, весёлый рот улыбается в её губы. Поскользнулся, вновь забылся сном.

Прежнее забыто: что-то случилось с миром, свернувшимся свитком – мыслью о мужчине, ради которого он был карандашным наброском, выкройкой между дел, сюрпризом в перерывах между жизнью и её отсутствием.

Кисточка с розовым и красным прошла по его груди и бокам. То, что вышло, она поставила у изголовья, как воспоминание об ошибке.

Нельзя зашить свои намерения в верблюжонок из сатина, отправить бандеролью в чужие дни. Тот, кто проходит мимо, не явится получать невнятные караваны сиренево-душной весны. Он давно превозмог свои пустыни и не собирается в обратный путь. И, всё-таки, вер-



блужонок вручён (в обмен на насмешку). Лишь для того, чтобы задержаться в недоумённых глазах.

Уж если нельзя – навсегда. Теперь это нить, связывающая его недоумение и адский огонь её гордости.

Сколько неистового негодования швырнула ему в лицо в благодарность за то, что он бросил её на диван, и, смеясь, выпил раздавленный горький рот с запахом жасминовой ночи. Вот откуда опустошённые дни, сны с молниеносными стрижами, проникающими навывлет в верхние башни её пробуждений.

Едва подумаешь – и верблужонок опрокинется, мягко упадёт на клавиатуру, изменит черты. Пустота, от которой они укрылись призрачной сенью страсти, на миг отступила перед неистовством одиночеств. Обернулась синей коробочкой, обещала тайну – потом.

Обманувшие, обманутые, они встречают новые дни, безмятежно отрешённо смотрят в холодные, как дно, глаза утра.

Уже к полудню всё несбывшееся сосредотачивается в области сердца, угрюмо толпясь в обмен на право родиться, вырваться на свободу, слыть.

Детали белья, утонувшие в пяти водах, переохлаждаются в кусочки льда, становятся невыносимым воспоминанием мыльных, истекающих паром вещей, ангелом, бросившим крылья.

Они странно напоминают изморенные жгуты одежды, отжатой кем-то сильным с азартом, предвещающим отдых.

Ускользая от суетных воздыханий, они попадают на руки, прожигают кожу и застывают в глазах осколками белых надежд.

И лишь потом попадают в глаза, заносятся кем-то неторопливым в недолгую память и неисповедимыми путями проваливаются куда-то за грудину.

Вещи с забытой жизнью оборачиваются благими намерениями, строят планы (иллюзии) и прохлаждаются тут и там, дожидаясь своего часа.

Они шатаются, подстерегая одним им известные минуты, которые совпадут с замыслом, извлекающим их из плена.

Однако, их редко выводят на чистую воду и почти никогда не называют своими именами.

Изморенные жизнью, они портятся, как замоченное под праздник бельё. Утешенье лишь в воспоминании о несбывшейся блестящей жизни былых вещей.

Наконец, в одно из воскресений они превращаются в осклизлую ветошь с водорослями рукавов, то и дело увлекаемых течением.

Оно навсегда уносит их прочь от самых последних надежд в нижние



круги подземного города.

Нехотя увлекают они следы грязи, обуреваемой промозглыми волнами наступающей канализации.

Немые слова, оставшиеся от прежних вещей – память о реке слов, которая непрерывно выбрасывает розовых рыб на берег.

Важно не спутать самозванное тряпье, подброшенное кем-то весёлым для отвода глаз и настоящее.

Требуется только не пропускать время отлива, прыгнуть на золотой от счастья берег и собирать доверчивых тёплых рыб в плетёную корзину, пахнущую хлебом и солнцем.

Это следует делать в любое время жизни.

И особенно, в отсутствие её, когда мир пересыхает и становится сплошным брошенным берегом, который не ведёт к морю.

Ничто не должно отвлекать от сердца, единственного и безошибочного вестника ветра, который приносит и дождь, и солнце.



Александр Минаков

Харьков

Я - спичка

– Я спичка, спичка, спи-и-и-ичка! Я спичка, спичка, спи-и-и-ичка!
Я спичка, спичка, спи-и-и-ичка! Я спичка, спичка, спи-и-и-ичка! – весело пел Ваня, держась обеими руками за голову, пляшущий по дому взад-вперед.

А еще десять минут назад этот Спичка, в исполнении Вани, был Иваном Анатольевичем Дорошенко, отцом двоих детей, начальником крупного отдела маркетинговых исследований, в прошлом мастером спорта по лёгкой атлетике.

Но всё это куда-то улетучилось.

Сказка про Деда, Бабку, Кота и Мыша

Жили-были Дед и Бабка. И жили они уже долго и счастливо. А отчего ж несчастливо – ведь всё есть – и домик маленький с трубой, и кот добрый, и мыш.





Да не ладили кот с мышом. Гонял кот мышА, кусал кот мышА. Однажды в зимнюю ночь из печки выпал уголёк и разгорелся.

Дом в дым, стены в пламя.

Дед за забор держится и охает, Бабка верещит так, что звёзды трясутся и соседи у погреба попрятались, а кот вокруг дома мечется – то к углу, то к окошку, то на двери глядит, а потом – раз, и в дом заскочит.

Бабка осипла, Дед – Осиц, пламя сильней, кот в доме.

«Да что ему, лохматому, в том доме надо? Что позабылось коту?» – только подумал Дед, но тут и кот из окна выскочил с ответом в зубах – а в зубах его мышь.

Дед смеется, Бабка осипла, соседи из погребов вылезают, звезды дрожат, кот дрожит, мыш пищит. И все, как бы, довольны.

Построили они новый дом, куда лучше прежнего – и окошки резные, и ставни писные, и печка с заглушкой, а еще поп, Григорий Ефимыч, коня подарил.

И зажили они счастливо. Дед с Бабкой в гармонии, кот с мышом в гармонии, конь в прихожей. Да всё равно гонял кот мышА, кусал кот мышА. Но всем уже было всё понятно.

Вот и сказке конец, а кто слушал – вот выводы:

– Взрослым – видишь, как бывает? Видишь?

– Детям – любите мышА, как самого кота. Мыш – здорово.

Лариса, студентка из Одессы

– Красивый, должно быть, у вас город, Лариса, – произнес Олег, вынимая из духовки ароматную курицу.

Но Лара ничего не могла сказать. Она из-за гордости и глупости не ела уже восемь дней и три долгих ночи.

Её взгляд уставился в курицу, а руки начали автономную жизнь. Первым делом руки решили оторвать кусок курицы побольше да пожирнее и протолкать прямиком в желудок по кратчайшему пути – упорно вдавливая в живот.

Олег думал вызвать скорую, после того как секунду назад «Здравствуйте, я Лариса, студентка из Одессы» преобразилась в голое, пляшущее существо, агрессивно смазывающее живот оторванными ногами курицы, издававшее первобытные крики.

Олег уже потянулся за телефоном, как Лариса пришла в себя, извинилась, и ушла в город искать квартиру, ибо в этой, ей уж точно, успеха не видать.



Вся жизнь перед глазами

Театральная постановка в трёх частях для ТЮЗа

I

Сцена 1.

Комната. Утро. На кровати лежат двое – мужчина (м) и женщина (ж)

(Ж), полушепотом: Саш...

(М) ...

(Ж) Са-аш...

(М) ...

(Ж) Са-аша

(М) ...

(Ж) Са-аша-а-а

(М), недовольно: М-м-м.

(Ж) Саша!

(М), еще более недовольно: М-м-м-м-м!

(Ж) Саш, высади цветочек.

(М) Не хочу.

(Ж) Саш, ну высади цветочек.

(М) Не высажу.

(Ж) Саш, высади его уже!

(М) Я сплю, вообще-то.

(Ж) Саш, ну ты же обещал!

(М) Ну, ладно, ладно...

Мужчина встает и выходит из комнаты.

Сцена 2

Сад. Горшок с цветком. Мужчина озадаченно стоит с лопатой в руках. Входит женщина, одетая в желтое, несет в руках стакан.

(Ж) Саш, я тебе лимонада принесла.

(М) Я не люблю лимонад.

(Ж) Саш, ну ты ведь тут умаялся весь, солнце гляди какое. На, вот, выпей.

(М) Но я не люблю лимонад.

(Ж) Он полезный

(М) Мне все равно.

Мужчина вынимает цветок из горшка, кладет на землю.

(Ж) И зачем?

(М) Я забыл ямку вырыть.

(Ж) Молодец.

Начинает выкапывать ямку.

(Ж) Саш, на, вот лимонаду. Я тебе принесла.

(М) Спасибо.

Берет в руки лимонад и выливает в ямку.

Занавес.



II

Сцена 1

В рабочем кабинете сидит мужчина в пиджаке и забивает трубку. В открытое окно врывается ветер и сдувает листочки со стола. Мужчина принимается их собирать. Входит женщина.

(Ж) Саш, что ты делаешь?

(М) Собираю листочки.

(Ж) Саш, а зачем ты их разбросал?

(М) Это все ветер.

(Ж) А...

Мужчина продолжает собирать листочки. Женщина безмолвно стоит.

(М) А зачем пришла?

(Ж) Саш, у тебя сын подросток.

(М) А я ведь, кстати, тоже чей-то сын...

(Ж) Саш, у тебя сын подросток.

(М) А я ведь, кстати, тоже чей-то сын.

(Ж) Саш, у тебя сын подросток.

(М) И что?

(Ж) Саш, дай сыну денег.

(М) Пусть сам возьмет.

(Ж) Саш, дай денег сыну.

(М) Все знают, где они.

(Ж) Саш, сыну дай денег.

(М) Денег-сыну-дай.

(Ж) Саш...

(М) Он может пойти на работу.

(Ж) Саш, у тебя сын вырос.

(М) А я ведь, кстати, тоже чей-то сын.

(Ж) Саш, а у тебя сын вырос.

(М) Как гриб?

(Ж) Саш, дай сыну денег.

(М) Возьми и дай сама. Деньги в столе.

Женщина подходит к столу. Мужчина поднимается с пола и кладет листки на стол.

III

Сцена 1

Кровать, тумба. На тумбе лекарства. В кровати лежит старик. Он тяжело дышит. В комнату заходит старуха.

(Ж) Саш...

(М) ...

(Ж) Са-аш.

(М) ...

(Ж) Саа-а-аш-а-а-а.





- (М), недовольно: м-м-м-м-кха-кха-хке!!!
(Ж) Саш, подпиши завещание.
(М) Не буду.
(Ж) Са-а-аш, ну подпиши завещание.
(М) Я его не писал. Что это?
(Ж) Саш, его написал юрист. Он их умеет писать.
(М) А что там написано?
(Ж) Что-то о деньгах и имуществе.
(М) Тьфу. Никому даже перед смертью нечего сказать.
(Ж) Саш, подпиши завещание.
(М) Ладно, давай его сюда.

Дедушка подписывает, кашляет и умирает. Старуха выходит из комнаты.

Занавес.

Альтернативная концовка.

- (М) Ладно, давай его сюда.
Дедушка подписывает. На улице раздаются раскаты грома, лампочка лопается.
(М) Что это было?
(Ж) Это было не завещание. Я обманом продала твою душу дьяволу в обмен на молодость и земные богатства. (Превращается в молодую.)
(М) Тьфу. Впрочем, ты всю жизнь мной манипулировала. Что ж, уходи. Видеть тебя не хочу.
Девушка выходит.

Занавес.



Сергей Моисеев **Харьков**

Моисеев Сергей Валерьевич родился 3 апреля 1972 году в г. Чугуеве, Харьковской области. Гражданин Украины. Образование высшее. В 1991 г.— закончил Харьковский строительный техникум по специальности техник-архитектор. В 1997 г. закончил Украинскую Инженерно-педагогическую Академию по специальности „Менеджер экономической безопасности». С 1993 работал журналистом в изданиях „Харьковские Губернские ведомости» и „Симон», а также на телевидение журналистом отдела криминальных расследований. С 1996 году был заместителем



редактора газеты „Первая Столица». 1997-1998 гг. заместитель редактора в газеты „Курс». С 1999 года директор ЧПФ «Гелиос», издатель и главный редактор духовно-исторической газеты „Тайны века».

Физики и лирики

Рассказ-фантазмагория.

21 апреля. В ХГУ дни физфака и радиофака отмечались бурно и весело, кафедры старались перещеголять друг друга количеством выпитой водки и лихостью. Причем в общее движение принимался любой желающий.

Действо началось с рок концерта. Выступавшие группы были хорошо разогреты, солисты забывали слова, музыканты — аккорды, в общем, по-лучалась сплошная импровизация. Каждое попадание зал оживленно приветствовал. Было шумно и весело. Вечный аспирант — электронщик Борода указывал пальцем на прыгавшего по сцене Шуру и сокрушенно объяснял собравшимся: «Это ж он последние копейки на фудзилки тратит. Не жрет, за квартиру не платит, торгует телом в худ училище, а зарплату во всяческие примочки к гитаре переводит».

Страсти на сцене улеглись, народ повалил из душного зала на свежий воздух. Хоть это и был день физфака часть толпы, скорее, относилась к лирикам, а не к физикам. Между сторонами разгорелся извечный спор, какой способ постижения мира лучше — интуитивно-чувственный, или линейно-логический? Что выше, разум или эмоции? Что лучше, бездушные схемы, или живые образы?

Увлеченные спором, мы не заметили, как стало темнеть. Неожиданно подул холодный порывистый ветер. Стало неуютно и очень холодно. Мы осмотрелись по сторонам: в сумерках просматривалась незнакомая холми-стая местность. Вокруг поля, луга, полоски леса. Стоим в недоумении на проселочной дороге, усеянной коровьими лепешками. Осенний ветер бро-сает под ноги перекаати-поле и листья. Тьма обступила со всех сторон, скрывая чуждый ландшафт. Никто уже не веселился, все осознавали, что произошло нечто сверхъестественное. Все стало предельно ясно, и давило своей очевидностью. Казалось лишним высказываться вслух. И мы двину-лись вперед, потеряв ощущение времени. Определить сколько и куда мы шли было нельзя, дороги давно не было, нас окружал первозданный мир.

Мы вели первобытную жизнь, наше племя бесконечно кочевало. Мы перемещались за стадом животных. Многие жили семьями. Я уже был женат, рядом со мной бежала моя шестилетняя дочь. Мы постоянно шли вперед, надеясь выбраться из этого злополучного мира. Наши дети не представляли, что может быть иной мир, на взрослых же пережитое наложило неизгладимый отпечаток. Никто ни с кем не общался без необходимости, в каждом взгляде был виден излом. Мы были





немного разумней стада, идущего впереди нас. Не было желания устраиваться в этом мире вечной осени. Надобность в разуме отпала.

Животные перемещаются через холмистую местность, вокруг луга и островки леса, моросит дождь. Босые огрубевшие ноги вязнут в истоптанной копытами жиже. Только тупое животное существование, нет будущего. Лохмотья и шкуры прикрывают наготу.

Вдруг стадо бросилось в бег. На холме появляются крупные хищники, с очертаниями мамонтов, они издают жуткий протяжный вой. Два стада сталкиваются. Люди, устремились к подножию небольшой отвесной скалы поросшим острым корявым кустарником. На наше счастье в скале есть пещера. Мы спасены, но никто не радуется. Несчастнейшие из людей, загнанны в мрачную, сырую пещеру, сидят тесной гурьбой и оплакивают свою участь. Все смыслы потеряны, объяснения отсутствуют, остался мо-гильный холод, первобытный страх и отчаяние.

Чтобы преодолеть смертельный ужас и отвлечь ребенка от пережитого, я думаю нарисовать на стене мамонтенка. В потемках пытаюсь найти под-ходящий кусок сухой глины, но вдруг натыкаюсь на какой-то сундук, от-крываю крышку. В сундуке лежит абсолютно новый хромированный фо-нарик, довольно длинный, я подозреваю, что он содержит три или четыре круглых батарейки. Перемещаю выключатель, и мощный острый луч света прорезает мрак пещеры. Освещаю открытый сундук, над ним клубится какая-то дымка. Боясь шевельнуться, физики и лирики следят за моими действиями. Луч скользит по их застывшим гибонообразным фигурам. Испугавшись луча, одна фигура метнулась в угол пещеры и затаилась, сверкая красными точками глаз. Дымок над сундуком просвечиваемый лучом образовал голограмму — возник образ старца в характерной ниспа-дающей одежде и изрек слово и число: «Считай до восьмидесяти двух».

Мы считаем, лихорадочно вспоминаем цифры. Произнося, один, два, три, четыре...

Я считаю все быстрее и быстрее, не контролируя темп, как бы помимо своей воли. Дойдя до шестидесяти, все замолкают, я считаю один. Во рту пересохло, немеет нижняя челюсть, не могу управлять артикуляцией, го-ворить очень трудно. Главное не сбиться и говорить четко и отрывисто.

Страх нарастает, ощущение, будто я стремительно падаю, а неминуе-мый удар о землю это роковая цифра, которую я выкрикну через пару мгновений.

Восемьдесят два!

И вроде ничего не происходит. Видение исчезло, только на стене пеще-ры появилась аккуратная картинка в раме под стеклом, написанная флю-орисцентными, отражающими луч красками.

На небольшой космогонической картине изображены звезды и плане-ты. Мы подходим ближе, и они вдруг оживают, все начинает двигаться, из космической тьмы и первородного хаоса образуется Ось



Мира. Мы видим, как приближается какая-то планета. Вдруг она начинает стремительно вращаться. На планете появляются полюса, она обретает силу притяжения. Образуются полярные шапки, перемещаются целые материки, планета покрывается вулканами.

Возникает чувство трепета, невероятного подъема и облегчения. Кто-то воскликнул: «СМОТРИТЕ! ДА ЭТО ЖЕ БОГ СОЗДАЛ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ»!

Тут мы заметили, что рама картины вовсе не рама, а иллюминатор космического корабля. Мы стремительно приближаемся к девственной планете, на которой появляется атмосфера. Перед нами проносится история Земли, миллиарды лет спрессованы в секунды. Вот внизу уже виден город.

Летательный аппарат спускается все ниже и ниже. Погожий весенний вечер. После изнурительной зимы харьковчане гуляют в саду Шевченко. Облетев госуниверситет, корабль садится на площади между памятником Ленину и летним кафе. Нам весело смотреть, как народ в ужасе покидает скамейки и столики, мы спускаемся по трапу. Ильич вне себя от счастья напевает гимн физфака.

Я взял дочь за руку, нам еще предстоит втиснуться в троллейбус и добраться в общежитие на Павлово Поле.

Мороженное

Жара страшная, разгар рабочего дня. Поехал на южный вокзал в предварительную кассу за билетом. Во все кассы огромные очереди.

Еще по дороге, вырuling, на своей раскалившейся на солнце «Таврии» почему-то стал думать о мороженном. Как назло по пути на лотках мороженное нигде не попало. В очереди у кассы мысль о мороженном стала навязчивой.

Время разуплотнилось, в душном зале медленно течет очередь, медленно течет время.

Думаю о ценности и непостижимости временной субстанции, припоминаю слова Августина Блаженного, который знал, что такое время пока его об этом никто не спрашивал. Обдумываю планы на сегодня.

Думаю, ведь получается, мы не равны не только имущественно, с этим можно бороться. Но как бороться с тем, что времени нам всем по-разному отмеряно?

А с другой стороны мы все равны, ведь в сутках времени не добавишь, всем порция одинаковая.

Когда, подошла моя очередь, окошко закрылось на часовой технической перерыв.

Обычно я понятливый и в каждом внешнем событии ищу скрытую подоплеку, нахожу устраивающее меня объяснение, зачем и почему. Но бывают случаи, когда я просто говорю: — «Господи, извини, не по-





нял?»

Ну, какой высший смысл в том, что я сейчас перейду площадь, займу очередь в новом терминале, куплю билет, но при этом потеряю самое драгоценное и невозполнимое — время?

Иду в терминал через привокзальную площадь, ну хоть мороженное попадется и то ладно. Как назло есть все, пирожки, шаурма, пиво, а мороженного нет.

Открывая утром, календарь прочел, что сегодня день Владимирской иконы Божией Матери и день постный.

И все же мороженное против шаурмы почти постное кушанье, выбор однозначен — мороженное. Но его нет, зато есть пирожок с картошкой. Пришлось, переходя в терминал жевать пирожок с картошкой и думать о себе с жалостью. Взгляды людей мне как бы говорят: — «Ну что ты так сплеховал? Купил пирожок у бабули, неужто так плохи дела?»

«Не мог что-то посолиднее употребить?» — сказали глаза презентабельной девицы, покосившейся на мой пирожок в целюфанновом кульке.

Новый терминал меня встретил сплошным блеском -- все «по европейски», как любят говорить наши оранжевые власти. Переход в новый терминал заканчивается эскалатором и здесь перед эскалатором, среди стекла и пластика, как несуразное вкрапление, почему-то стоит бабуля из прошлого века. Все на ней простенькое — платок, коричневый плащ, ва-ленкообразные сапоги и лицо под стать одежде, тоже простенькое. Надо же, доедая всухомятку пирожок, думаю я, это как на инсталляции модернистов стоит человек в потоке. вне времени и пространства, из иной реальности, вроде как ждет чего-то.

Подозревая, что бабушка просто боится зайти на эскалатор, возвращаюсь и спрашиваю, может помочь чем?

— Я поезд на Купянск ищу, с восьми утра стою здесь. Отвечает бабуля.

— А у людей спрашивали?

— Да, не знает никто.

Хорошо, что я пирожок дожевал, а то мог бы подавиться.

Ведь уже вторая половина дня, восемь часов стоит, как часовой, бабуля в оглушительном людском потоке. Оглушенная, парализованная, раздавленная мегаполисом. Сколько людей сегодня прошло мимо нее — о горе человечеству, ведь это приговор!

Бабуля подождите минутку, я сейчас все узнаю.

Простенькое круглое лицо бабули как-то оживилось, осветилось надеждой. Но она и надеяться боится, не верится ей, что это что-то настоящее, что она выстояла и дождалась своего часа. Она начинает суетиться хватается за сумки, потом снова ставит их под стену.

Подлетаю к кассе, билет мне все-таки нужно купить, у кассы почти нет очереди, думаю, потерпи бабуля ты ведь восемь часов стояла, пять



минут еще выстой, ведь я мысленно с тобой.

Беру билет и вот оказия, кассирша не знает, как доехать до Купянска.

Расписание читать некогда, в платной справке узнаю, что бесплатно можно доехать только до Граково. А ближайший поезд-тепловоз через полтора часа.

Бабуля спускается со мной по эскалатору. Она действительно его боит-ся, чуть не падает. Ходит она мелкими шажками, ноги болят.

На эскалаторе мы создаем пробку, он короткий, но движется быстро, но и тут люди по нему бегут. На каких-то сорок секунд, мы с бабулей пере-крыли интенсивное движение на эскалаторе. И вот мимо нас, тужась, про-тискивается чувак в белой рубашке с коротким рукавом.

Как-то накануне я задумался, что все-таки значит это слово — чувак. Периодически посещала меня навязчивая мысль узнать тайну этого зага-дочного слова. Ответа специально не искал, жаль времени на глупости. Но вопрос этот почему-то меня периодически мучал.

И вот заходит ко мне в редакцию председатель Харьковского рок-клуба Андрюха Шумилин. Вышли на улицу он покурить, а я воздухом подышать. Так стоим, ни о чем трепемся, и тут он неожиданно всматривается в меня и говорит, а знаешь, что такое чувак?

Думаю надо же, как от Господа даже малейшую мысль не спрячешь, вот по такой мелочи Шумилин и пришел, причем Шумилин, в отличии от духоносных старцев и сам не знает, что сейчас отвечает на мучительный вопрос. Я не подаю виду, что мне это как-то особенно интересно. А Шуми-лин продолжает, так вот ЧУВАК -- это аббревиатура неформалов. Это Че-ловек, Усвоивший Высокую Американскую Культуру!

Вот ведь как! Конечно же, все сходится и это уже не мелочь!

Ведь кто поклонился Христу – Христианин, Ленину – Ленининец, Бандере – бандеровец, а кто идолу с семью рогами тот, конечно же чувак!

Теперь чуваков везде стало много, адепты абстрактной идеи свободы, этого рогатого идола с оранжевым факелом в руке, теперь по всему миру почти свободно хозяйничают. Идол требует поклонения и жертв, аппетиты растут, идол жиреет и наглеет.

Адепты сами заблудились, видя концентрат безответственной свободы в деньгах и власти, когда можно делать все и тебе за это ВСЕ ничего не будет, погнались за миражом и других в соблазн повели.

Может ли кто из успешных сказать, что он свободен от переживаний и ему не о чем беспокоиться?

Не знали, да еще и забыли, что по слову апостола Павла, только «где дух Христов там Свобода». Пытались искать свободу вне Христа и Его за-поведей, а попали в неминуемое рабство страстей и пороков, а ведь «кто кем побежден тот тому и раб» делал вывод апостол Христов.

А бегущий по эскалатору чувак в белой рубашке, видит, что стоит



по-жилой, беспомощный человек, при том, что эскалатор всего метров десять пятнадцать, тем не менее, хотел свободно пробежать по эскалатору, он по-ступал так, как велит его идол свободы. Но тут свободно стояла бабушка и я свободно остался на месте когда увидел, что этот товарищ в белой рубашке претендует на звание настоящего ЧУВАКА.

Да, думаю, если бы сейчас, как в былые времена давали переходящие вымпелы, ты бы получил вымпел со званием передовейшего чувака.

Я решил, нет уж дружище, нет, если тебя не остановил этот неотмирный образ бабули, в который ты буквально ударился, значит тужься, про-тискивайся, борись дальше, доказывай, что ты достоин звания настоящего чувака!

Ведь ты свободен, как атом, который намертво прикован к своей траек-тории, как муха, которая нарезает угловатые круги вокруг лампы. В дет-стве мы говорили, грубо, но верно — свободен, как сопля в полете. Образ-цовый потребитель должен мчать по своей беговой дорожке, а не то сосед купит новую машину, а не ты. Но ты всего лишь часть огромного меха-низма, в котором все пронизано движением внешне хаотичным, но, на самом деле, глубоко обусловленным — детерменизированным всеобщим стремлением к успеху. Успех — идол современности, он манит человека как бабочку огонь. Но на пути к успеху попадаются неожиданные препят-ствия в виде убогих и сырых, которые могут расконцентрировать внимание человека, лишить его потребительского аппетита. В современном мире о убогих должно государство заботиться, а мы для этого налоги платим, время же не стоит на месте, ведь на то прогресс и существует.

Но как же эта бабуля попала в этот отлаженный механизм, в этот ки-пящий городской бульон. Как этот осколок иной жизни долетел сюда и камнем упал в эту реальность. Не тот ли это тот камень, который на кого упадет того раздавит, а кто на него упадет, тот раздавится?

Не тот ли это фонарь, с которым когда-то ходил по Афинам Диоген, ис-кавший в толпе человека? Выходит, он и теперь среди нас и одним своим присутствием обжигает и обличает

Пока я бегал и узнавал, где прибывает поезд, меня донимали бесконеч-ные звонки по телефону, а бабуля передохнула в зале ожиданий.

Говорю ей, что бесплатную электричку отменили, есть поезд-тепловоз.

Как поезд, у меня и денег-то нету, — изумленно ответила она. Отдаю ей купленный билет, и начинаем перемещаться в сторону платформы.

Одолев все переходы, сели на скамейку на платформе говорю ей, ну дайте мне билет, посмотрим какой вагон, место.

— Ой, не помню где положила.

Начинаем искать, в сумке много кулечков, травки какие-то бутылочки, картошка в мундирах.



«Наказал меня Господь!» — причитает бабуля.

Я сам вываливаю из сумки содержимое и среди трав нахожу искомый билет. Ждем поезд, беседуем. Задаю много вопросов, мне все интересно, как и почему судьба привела эту старушку к подножию эскалатора. Оказа-лось, зовут бабушку Софья, живет она под Купянском, муж умер, и она приехала получить его пенсию, но ей сказали приехать аж 4-го сентября.

— Кто сказал?

— Ну там они.

— Ну где они?

— Ну там, где я на почту ходила.

— Да на какую почту?

— Да на ту, в которую я постоянно хожу.

— А почему в Харькове?

— А я на заводе ХТЗ тридцать лет проработала.

— Жили здесь, а теперь вот под Купянском.

— А почему в сентябре сказали приходить?

— Потому что сказали, положено так. Потому, что муж до конца месяца четыре дня не дожил.

— Вы же здесь на вокзале с восьми утра, а где ночевали?

— Ночевала в Граково. Я туда приехала, а сказали, что поезд на Купянск отменили. А вы кто?

— Я журналист. Статьи в газету пишу.

— А, значит юрист.

— Да нет же я журналист. То есть статьи пишу.

— Вот и я думаю вроде как не юрист.

— Ну а внуки-то у вас есть.

— Два внука и две внучки.

— Ну а значит и дети есть.

— Нет детей.

— Ну как, ведь сначала дети, а через детей внуки.

— Ну внуки есть, а детей нет. Умерли.

— Ну а внуки с кем?

— Со мной и мужем были.

— Ну а внуки помогают?

— Так работы нет. Старшему 20, а работы нет.

— Ну а на стройке бы поработал?

— Работал на стройке и грузчиком работал. Обманули его. Говорит, не пойду больше туда бабушка.

— Сейчас по специальности вроде устраивается машины ремонтировать.

— А что кушают внуки?

— Что приготовлю, то и кушают. Муж то мой был военный, хорошую пенсию получал, даже на Кубе был.

Я все спрашивал, и через эти короткие ответы-крупички, прикасал-





ся к незнакомой мне, не прожитой мною жизни.

— А на похороны мужа деньги были?

— Одаживала. Муж еще в марте умер, вот одной соседке до сих пор должна. Говорю ей ну нет у меня денег. А она — ну ладно, потом отдашь.

Внукам сказала, уеду, ведите себя хорошо нельзя воровать, обманывать, не люблю я этого и муж не любил. А внук мне — бабушка, ну сколько можно одно и тоже говорить. А я, ну кто тебе еще об этом скажет, соседи что ли? Кому это нужно?

— А чего ж ехали за столько километров, и получилось зря. Могли бы позвонить?

— А я телефона не знаю. И неоткуда. Телефона у меня нету.

Мы сидим в потоке. Вот мимо нас простучали туфлями по асфальту де-вицы в джинсах. А вот идет девица с мороженым, выглядит не-типично в свободной длинной юбке. Зацепилась за бабулю взглядом и замерла, не смогла пройти мимо. И нерешительно, с каким-то страхом смотрит оше-ломленная, ведь сидят люди из разных миров и о чем то беседуют, сразу видно слишком разные, чтобы сидеть вместе и что-то обсуждать.

О чем могут беседовать — высокоумие и смиренномудрие, пытли-вый уверенный в своих способностях интеллект, который не раз си-лой сло-ва, взгляда, убеждения, некоторых сильных мира лишал рав-новесия, лю-битель пофилософствовать по всякому поводу и напротив — простая ба-бушка, София, которая, пожалуй, на излете жизни не ведает какой смысл таится в ее имени. И наверняка не знает, что царь Соломон не просил у Бога ни долгой жизни, ни богатств, ни славы, а просил мудрости.

Вот она стоит на пороге вечности, а в ее котомке несколько обиход-ных выражений, ну где тут гордости опору найти, за что зацепиться? Жизнь пройдена, вечность уже рядом, а в руках пакетик с замусолен-ными доку-ментами, вареной картошкой и травками. Чем ей похва-литься? Разве что немощами?

Что такое ось? Ось стоит на месте, а вокруг все вращается, летит, стал-кивается, сливается, разделяется и сокрушается друг об друга. И в этой суете островок покоя и тишины, время отсутствует. И я уже ни-куда не спешу, все потерялось на фоне того чувства и состояния, кото-рому слов не подобрать. Разве что повторить словами Апостола: «Пре-мудрость Божия тайная, сокровенная, сходящая свыше. ...во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и до-брых плодов, беспристрастна и нелицемерна...»

— Вы вместе? Наконец-то решается обратиться к нам девушка в длин-ной юбке.

— В общем-то, нет. Я только бабушку на поезд посажу и все.

Она не зная как поступить дальше, как-то робко вкладывает бабуле две гривны в руку.

— А это еще что? Зачем?



— Это вам просто пригодятся, замялась девушка, не знаящая как еще выразить охватившее и ее невыразимое щемящее душу чувство и в тоже время боясь унижить подаянием не просящего помощи человека.

Тут я глянул на часы и поразился, как пролетело время, через пару тройку минут отправление, а поезда все нет. Замечаю, что далеко впереди стоят два вагона и люди толпятся. Бегу, узнаю, действительно тепловоз с двумя вагонами -- это наш поезд. Все уже уселись. Бегу за бабулей и идем к поезду, я несю сумки, а София семенит рядом, и под ее ногами хрустят осколки разбитой на перроне бутылки. Она волнуется, и уже в голос об-ращается к почившему мужу.

— На кого ж ты меня покинул! Как же я сама с тремя детьми управлюсь? Ведь, старший, младших обижает иногда! Как же я сама-то?...

Мы успели, оказались вагоне, рядом слышится жаркое дыхание локо-мотива, только разместились и вот заходит продавщица мороженого и предлагает нам нам, то, о чем я и думать забыл — мороженное!

Бегу через раскаленную площадь к машине, телефон разрывается от звонков. Я в бурной реке, где все частицы движутся по глубоко обуслов-ленным законам всеобщего детерминизма. Одна странность не дает мне покоя, почему пока я больше часа общался с Софией на перроне, телефон не звонил? А теперь я снова окружен всяческим неотложным и важным.

Все-таки ни в чем так не путается человек как в значениях и приорите-тах, ведь у каждого богат ли он или беден, могуч или слаб, времени в сут-ках поровну, как распорядится этим ежедневным капиталом? Как в этом множестве голосов расслышать глас Того, Кто знает истинные значения? Что сделать, чтобы этот Глас достучался до суетного ума?

Мне звонили. Что-то говорили, и я что-то отвечал. Я мчался по улицам Харькова, в железном потоке среди джипов лавировала моя «Таврия», но перед глазами у меня шла по битому стеклу нищая, обездоленная София.

— Ну как же так? Вопросал я.

А голос, который не приходит приметным образом, мне без всякого звонка отвечал.

«Так, потому, что ко Мне нет другого пути, и ты об этом читал многократно».

«Многими скорбями, многими скорбями» — слышал я повторяющиеся слова, которые стучали, как мелкие шаги Софии по битым стеклам спешащей навстречу Вечности.





Юрій Плющенко

Пгт. Жовтневе, Сумська обл.

Вічні двигуни від Семка Ваколівського

Отак щоразу: збираю все точно за схемою – а вона не працює. Мій товариш, сусід по парті (трієчник, до речі), серйозно слідкує за моїми діями, довіряє мені, відміннику, а тому – авторитету у питаннях освіти і дивується: у чому, мовляв, справа. Потім зі словами «ану, дай, я» швидко висмикує електродроти із гнізд, куди я їх з глибокодуним виглядом повставляв, і так же швидко вставляє їх туди, де надумав сам. Потім – до мене: «вмикай!» Я з недовірою повертаю рубильник – і схема в роботі: легко гойдається стрілка амперметра, сяє лампочка...

Товариш сміється – весело, без найменшої насмішки над моєю невдачею, його повага до мене аніскільки не поколивалася, – але мені прикро.

Лабораторна з фізики закінчується, я вдаю, що задоволений її результатами, але не можу заспокоїтися. Так і не зрозумів, навіть, у чому моя помилка, не вслідував. Та й справа не в тому. Я невдаха у всьому, що стосується практичних дій, не вперше переконаюся. І тому авторитет «теоретика» мене давно не втішає.

Повертаюся з уроків додому, прикрий настрій не щезає. У такі хвилини ніби поринаю душею у порожнечу, у якесь ніщо. Цей стан, кажу собі, мов та первісна безодня, над якою витав Дух на початку творення світу. (У цю хвилину наді мною витає молодий весняний неспокійний вітер.)

Від цього внутрішнього хаосу чи від неспокійного вітру відчуваю у собі те, що називаю творчою тривоگوю, або ж палким прагненням творити. Щось має неодмінно відбутися, аби в мені здійснилася ця бентежність. І воно відбувається.

Несподівано просто переді мною з'являється СемкоВаколівський.

- Що, сумно, двієчнику?
- Я не двієчник.
- Але сьогодні – так.

Я мимоволі насторожився. Що він прозрів у мені сьогодні, чи не нинішню невдачу на лабораторній?

- Гарзд, не засмучуйся,- миролюбно мовив Семко.- А в мене цікава новина: винайшов вічний двигун.
- Вічних двигунів не існує.



Я чвиркнув крізь зуби на знак презирства до такої заяви.

Семко чвиркнув у відповідь і зареготав.

- А от і є! Ходімо покажу. – І потяг мене у посадку.

- Гетьте, я додому піду – їсти хочеться.

- Та це недовго, хлопче. Він ось тут, поруч. Я його, до речі, щойно зробив і він діє.

«Винахідник» благально дивився мені в вічі. Я знав, що від нього зараз просто так не відчепитися. До того ж бентежність... Махнув рукою – і ми пішли.

Кроків через тридцять Семко зупинився біля високої берези і, обернувшись до мене таємниче прошепотів: «Є цілий кладень вічних двигунів, голубе. Вони прагнуть рухатися, віддавати свою силу задарма – від самих себе, охоче, як мати віддає молоко немовляті. А ти: не існує!»

По цих словах Семко Ваколівський виструнчився і, простягнувши руку в бік берези, вигукнув: «Ось!»

Я оглянув березу. Унизу стовбура був просвердлений отвір, під ним – забитий у дерево лоток. З отвору щедро витікав сік і збігав у трьохлітрову банку. Звичайна картина для весняного дня.

Я знизав плечима.

- Вічний двигун – це як весняний сонячний день, - реалізував свою хворобливу уяву (як мені здавалося) Семко. - Він з'являється як дар небес і працює, працює!.. Він діє, доки існує сонце, доки... доки існує все, всесвіт!

- Отже, він не вічний, адже сонце не вічне, - покепкував я над поетичним натхнення промовця.

По-правді, я відчував протилежне тому, що сказав. Слова цього дивака мимоволі захопили мене. Може, тому, що був налаштований на дивацтва.

Семко ж майже обурився.

- Ха! Що таке вічність? Ти, хлопче, оперуєш абстракціями. А життя конкретне. І мрії – це конкретність. Адже вони плутаються у матеріальних наших мізках і женуться по тілу живою кров'ю серця.

Я зрозумів, що Семка «понесло». «Відкрилася шиза», – як казали про мовлення цього дивака у такі ось хвилини, як ця.





- Але я тобі доведу, - пробурчав «винахідник» і витяг із потертої торби, що висіла на плечі, дерев'яну катушку з-під ниток. У катушку були встромлені кілька пластинок із тонкого металу.

Чоловік відламав з куща, що ріс поруч, рівну гілочку і просунув її у отвір катушки. Потім присів, відставив від берези банку з соком і підставив під струмінь катушку. Сік ударяв по пластинках і катушка повільно, ніби нехотя, прокручувалася на гілочці.

- Конструкція не дуже досконала, - поскаржився Семко, - але він працює, як бачиш.

- Хто – «він»? - здивувався я.

- Вічний двигун. Оце він і є.

Конструктор-дивак підвів лопаті під струмінь соку так, щоб той потрапляв на самий їх край – і катушка закрутилася швидше.

- О! - зрадів «винахідник», - Якою силою обертається катушка? А вона не тільки обертається, але може навіть живити генератор струму, якщо його до неї підключити. І так – вічно!

- Ви говорите про силу? Але ж тут працює сила сонячного тепла, - спростував я.

- А якщо замість стовбура берези – та система капілярів? - парировував мій опонент. Він, схоже, чекав мого питання. - І потім, що таке сонце, його тепло? Та й ми самі, що – без сонця, без Творця? Усе на світі пронизане таємницею, загадкою. Все суще самостійно вирішує свою програму і рухається, реалізовує себе згідно неї. Цей рух і є творчість. Він – з нічого, бо вписаний в коло буття. Треба лише зуміти побачити його, відчути цей рух, підкреслити його своєю уявою, ніби влетівши нею в це благословенне коло. Раптом ти побачиш тоді, як змінюється світ під твоїм творчим зором, як розум твій, полонений гармонією, викреслює в просторі своєї наснаги дивовижні конструкції. І ці конструкції оживають, приходять в рух, черпають могутність свою з нічого, тобто з таємничого закону великого кола. Оце тобі й творчість. Оце тобі й вічні двигуни. Запам'ятай, хлопче, аксіому: творчість – це створення з нічого.

Промовець перевів подих і продовжив урочисту промову простим буденним голосом:

- Існує велике ніщо, в якому, насправді, є все. В нім – і джерела, і сили, і володіння. В нім – і багатство, і напрямок, і закон. В нім – наснага, пошук, і вітха.

Я нічого не міг відповісти на ці слова. Для мого малотямущого розуму така глибокодумність чи мовна претензійність була заважкою. Я змушений був вважати за думкою дорослих, що це «шиза», хоча відчував у міркуваннях Семка незбагнену дивовижну правду.

У якусь мить перед моєю уявою почала вимальовуватися механічна конструкція. Це було щось не бачене мною ніколи, але чимось





знайоме. Як би це пояснити?.. Ніби в мені існувало у ті хвилини інше, підсвідоме «я», сумірне зі мною, і воно було компетентне в тому, чого я не знав. А відтак повідомляло, показувало мені, свідомому, те, що знало.

...І ось уже бачу всю конструкцію: вона погойднується на поверхні якоїсь водойми. Середина конструкції – система механізмів, а по боках – поплавки (через щовсе схоже на катамаран), теж складні, такі, що мають виконувати певні дії.

Я починаю говорити, розповідати Семкові про те, що бачу, пояснювати будову і дію конструкції. Ось один поплавок відкриває своє дно і занурюється, подаючи рух у центральну частину, де той сприймається маховиком. Потім тоне поплавок з іншого боку, а потонулий піднімається завдяки гумовій кулі, що надувається насосом, який бере енергію від маховика. І так по черзі: один тоне – інший піднімається, потім – навпаки.

Семко, уважно вислухавши, як учитель фізики, делікатно вказує на принциповий недолік конструкції: втрату енергії на тертя і, як наслідок, неможливість дії мого «вічного двигуна». Я гарячково шукаю в собі варіанти удосконалення, звичайно, принципового. Чомусь вірю в себе, вірю твердо, що рішення існує.

В цей час нагадав про себе голод. Я захопив банку з соком і з жадібністю пив, скільки влізло. Семкодивився на мене з хитрою усмішкою. Я був упевнений, що в його голові уже сидить якийсь рішення. Відірвавшись від банки, перелічую свої варіанти. Очі мого старшого товариша виграють від роботи думки, а мені здається, що довкола моєї голови утворився вихор, подібний тому, який малювався у мультику про Лівшу.

якусь мить крайнього напруження думки і душевних сил побачив внутрішнім зором щось неймовірне. Ще не розгледівши всіх деталей, відчув (чи зрозумів?), що мій винахід уже працює. Йому вже не загрожує втрата енергії ні на тертя, ні на нагрівання струмом електропроводів. Ніби цей двигун уже постав на недосяжну площину конструктивного рішення. (Хоча, чому «ніби»?)

І коли я беруся пояснити побачене, Семко підхоплює мою думку і ми майже в один голос озвучуємо березам і дубам інженерне рішення, що стало для нас спільним.

Тепер настала черга Семка пропонувати свою конструкцію, «постільки вже день такий – день вічних двигунів» (це ми так пожартували між собою). Але жарт жартом, а «головний конструктор» на-



шого «КБ» набрав серйозного вигляду і почав викладати теоретичні засади свого винаходу.

Я слухав неуважно, бо був у край голодний. Почав благати відпустити мене. Тим паче, що і вдома можуть занепокоїтися моїм запізненням.

«Чекай, чекай», - мовив Семко і дістав з торби хліб та сало.

«Але йти все-одно треба», - зауважив я, смакуючи гостинцем.

Ми дійшли до галявини за гаєм і знову спинилися. Точніше, це я – завмер, зачарований раптом ідеєю товариша. Вона, ця ідея, пробилася крізь втому, весняний галас лісу, крізь складні конструктивні деталі в багатослівному викладі промовця, - і полонила уяву, як дивовижна метафора або п'янка мелодійна тема.

Тепер, через багато років, мені несила пригадати практично нічого з того, що почув тоді, чим був вражений. Та й чи має це значення сьогодні? Важливе інше, було і почасти є: те, як я слухав, як грало в душі натхнення, коли навіть руки мої мимоволі злітали у потік вітру вслід за геніальними думками Семка Ваколівського.

Того дня все довкілля було нашим спільником і співтворцем – відчувалося в серці. І переконували в цьому: голоси птахів у молодому весняному лісі, шумнапруженого, ніби для творчої роботи, вітру в безлистих ще кронах дерев, сонце, готове віддати своє тепло для наших напівбожевільних проєктів.

А уява додавала в ці звуки, запахи, кольори, потуги, - шелестіння бруньок, що терпляче пробивалися до сонця; то їхня пісня, бо рух зростання, нехай сповільнений у часі, - це все-одно, як стрімкий потік повітря у горлі співочого птаха.

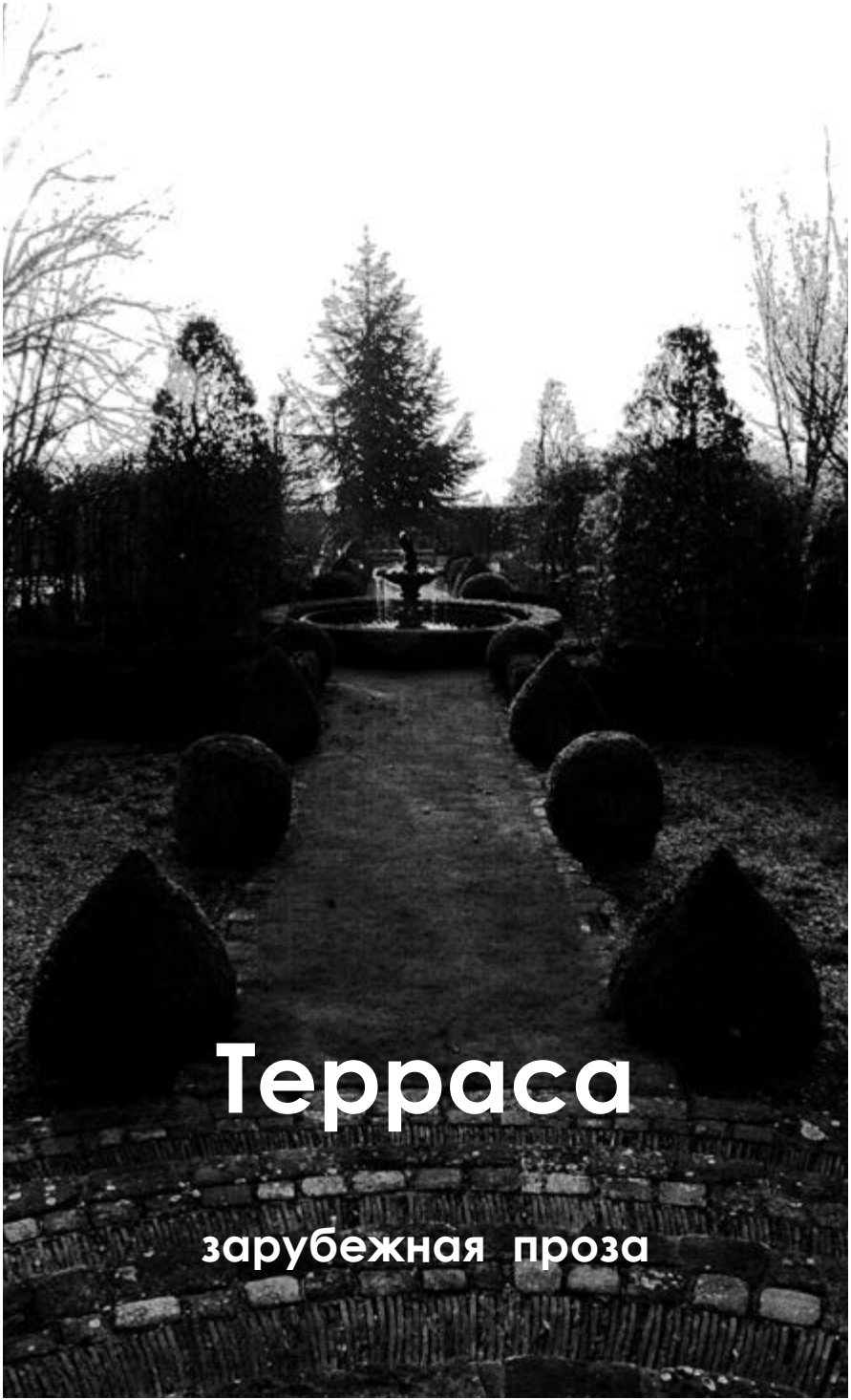
А ще вчував у той день, як відкривається у всесвіті для мого юнацького досвіду закон. Той великий єдиний закон, згідно якого не тільки все рухається і твориться, і самоусвідомлюється, але й саме прагне до творчості, бо спонукається найважливішим словом, навчаючись цим словом і втішаючись від нього буттям.

...Ми йдемо з Семком під величезним гарячим сонцем і по-



черзі вигадуємо конструкції. Виявляється, це заняття не таке вже й складне і, навіть, веселе. Ніби вигадуємо не вічні двигуни, а колядки чи коломийки. Тому за кожним винаходом ми сміємось, як хлопчачки, що втяли якусь оказію. Світ бо вічний, як і все, що в нім рухається, а творити легко і весело, бо все твориться з нічого. Однією тільки думкою, одним словом...





Терраса

зарубежная проза



Михаил Блехман	3
Геннадий Креймер	20
Мария Серова	36

Михаил Блехман
Монреаль

Отражение

*Тем, кого дай мне Бог быть достойным.
Моё прошлое не выдумка.
Оно – настоящее.*

Звёздочек падало так много, что у меня закончились желания. Кто-то сдунул их со своей огромной холодной ладони, и они послушно полетели вниз, укладываясь в сонные сахарные сугробы или оставаясь на стекле моего окна смешными и сложными символами диковинной азбуки. Как будто тот самый некто поздравил ими город, отпраздновавший Рождество, и захотел отразиться в оконном стекле, заглянуть в мою тетрадь и прочитать заключительные строчки только что законченного романа.

«Кто решил, что он идёт?» – размышлял я, стараясь не упустить главного смысла этих знаков и догадываясь о том, что, возможно, они и мой роман – это взаимное отражение или воплощение двух разных азбук одного и того же языка.

«Разве так идут? - снисходительно спросил я, скорее всего, самого себя. – Разве так ходят?.. Так – нисходят. Так снизошла бы холодная женщина, так снисходил бы хладнокровный неприятель, так позволил бы – больше мне, чем себе - снизить прохладный критик... А идут и ходят – разве так?»

«Но если бы не моя тетрадь – неужели был бы у вас – смысл?»

«Впрочем, что же я вам толкую о смысле? Там, откуда вы снизошли, об этом, я очень надеюсь, знают больше но, боюсь, – совсем иначе...»

«Тогда зачем и для кого эта моя азбука, если уже есть ваша? И вы снисходите всегда – вне меня и несмотря на меня...»

«... И будете снисходить на город, отпраздновавший Рождество и готовящийся к Новому году, - к новому году...»

«... Не замечая, что по эту сторону окна в новом году - кто-то совсем другой, не тот, кто был в прошлом, и не спрашивая: а где же тот?»

Могу ли я в моей тетради сказать что-то, что было бы незнакомо вам? Что-то такое, чего вы ещё не видели, к чему не прикасались?





Я вздохнул, постучал пальцами по обложке тетради, на которой до сих пор не было названия моего романа, раскрыл тетрадь наобум, на одной из римских цифр, снова взглянул в окно.

«Впрочем, вы ведь здесь, хотя и по ту сторону окна, ведь для вас оно не существует, - пусть же не существует и для меня, тогда вы сможете перевести на свой потусторонний – или на наш общий? - язык содержимое моей тетради...»

«... И мы с вами найдём для моего романа нужное название».

А раз уж вы всё-таки пришли ко мне, значит, ходят и так, и не слишком уж вы снисходительны – если только между нами не представлять себе окно...»

«Ну, вот, а я не верил».

Книги смотрели на меня из своего шкафа, заглядывали в мою пока ещё безымянную тетрадь, исписанную мало что передающими словами и почти бессмысленными римскими цифрами.

Книги смотрели из шкафа: разгаданная – не мною, но для меня – старая книга в перламутровом переплёте; и эти – мои любимые – они не помогают мне, но – самое главное – не мешают; и эта – она... я ещё не полностью понял её роль, но к концу моей тетради надеюсь понять - должен... Иначе писать мою тетрадь было бы рискованным делом, и кто знает, оправданным ли?..

Впрочем, разве я написал её? Я смотрел мимо моей тетради и думал, что, конечно, она уже была, и есть, и мне нужно было только найти её, вот я и отправился на поиски неизвестно чего – как средневековый капитан на поиски старой земли, которая, если повезёт и постараться, окажется новой.

Наверно, я удачливей и счастливей многих своих коллег-капитанов, потому что - нашёл, и вот теперь моей тетради не хватает только названия, чтобы стать книгой - со здоровой порцией самоуверенности подумал я. Конечно, можно оставить как есть: если, скажем, возможна, поэма без героя, то почему же не может быть романа без названия?

Нет-нет, лучше я всё-таки назову мою тетрадь. Я обязательно назову её, они мне в этом помогут, я ведь уже убрал разделявшее нас окно. Иначе – как же прохладная женщина, хладнокровный неприятель, холодный критик решат для себя и всего прочего мира, что моя тетрадь не заслуживает прочтения? Если у автора есть имя, а у его тетради - название, то легко сказать, что всего остального знать не стоит. А если имени или названия нет, то придётся прочитать и, только прочитав, сказать всему миру, что читать не стоит.

Разумеется, иногда начало бывает так похоже на название, что заменяет его... Но моему роману название необходимо – потому, что начало не только не заменяет и не предсказывает его, а совсем наоборот.

I



В начале – город готовился к новому году, и только потом, отпразд-



новав Новый год, начнёт готовиться к Рождеству. Но вместо желаний, которые сами собой загадывались бы в такт снисходившим на город звёздочкам, она думала о том, что желаний, по правде говоря, давно уже не осталось. И если бы вместо традиционной мрачной мряки на город вдруг снизошли вышедшие из моды снежные звёздочки, загадывать было бы нечего.

«Любопытно, - подумала она, поднимаясь в троллейбус и машинально проверяя никуда не девшуюся сумочку, - любопытно, как умело природа помогает тем, кому нечего загадывать. Было бы что загадать – звёздочки не заставили бы себя ждать».

В троллейбусе, к счастью, было почти пусто, и её место было свободно – и у окна, и рядом. «А ведь всё-таки было желание! - улыбнулась она, как обычно, прижимаясь к защитившему её от улицы окну и уже спокойнее глядя на здание и забор больницы, остающиеся за закрывшимися дверями и закрытым окном троллейбуса. – Желание было, я его помню». Она открыла книгу, неотличимо похожую на мою тетрадь, но, мне показалось, уже с названием. Она везде возила её и читала, периодически, не отрываясь от чтения, глядя в окно, на нерельефно ватные сугробы, как будто только что сброшенные с огромной ёлки, на фоне которых блекли окоченевшие фонари цвета ещё не приготовленного гоголя-моголя.

«Или гоголь-моголя?» - строго спросила она у самой себя, но не успела ответить, потому что увидела мужа и жену, медленно переступая, идущих к больнице. У Самуила лицо было такого же цвета, как эти неестественные сугробы: Клара стонала, пытаясь согнуться в три погибели, но девятимесячный живот мешал ей, и это сейчас была её и его одна-единственная погибель.

- Дай отдохнуть! – стонала она, усаживаясь в очередной сугроб.

- Кларонька, - поднимал её Самуил, - ты простудишься, пойдём, тут уже совсем рядом.

Им удавалось подняться и пройти ещё несколько шагов, и она снова садилась в сугроб перевести дух, но дух совершенно не переводился. Схватки у Клары начались, как назло, когда уже была глухая ночь и не то что такси, а даже частника не было на всём безнадежно белом для такого тёмного времени суток свете, и в роддом пришлось брести пешком.

Они шли уже больше часа, останавливаясь, присаживаясь, поднимаясь. Вокруг было раздражающе светло от снега, но в глазах у Клары потемнело ещё дома, когда она пыталась одеться, а поясница разламывалась, словно зачерствевший бублик, и ни идти, ни сидеть было невозможно. Шуба согревала, но тянула в сугроб, и единственное чего ей хотелось – это родить уже наконец и выспаться, не думая о том, что ещё предстоит рожать. Пальцы в муфте вспотели, набрякли и перестали сжиматься и разжиматься. Платок съехал набекрень, на лбу впервые появились морщинки, которых она испугалась бы, если бы сейчас посмотрелась в зеркало. Но сил не оставалось даже на то, чтобы испу-





гаться, примерно как когда она давным-давно тонула в Днепре...

- Господи, когда же я, наконец, рожу?! – простонала я, сжимая Сенину руку и садясь в соблазнительно тёплый сугроб. – Бедные женщины, за что им это?!.. Ой, Господи, если бы им, а то ведь нам...

Он, чуть не плача и целуя мои руки через муфту, снова принялся поднимать меня из сугроба, приговаривая:

- Кларонька, пойдём, тут уже рядом. Сейчас придём, тебе помогут раздеться, снимут с тебя эту чёртову шубу...

... и всё остальное! – с ненавистью сказала я, не пытаюсь подняться, потому что пытка была выше моих сил, и сил на то, чтобы пытаться, не было никаких.

- Ну конечно, всё снимут, как полагается, ты и забудешь, что на тебе всё это было. Дадут лекарство, уложат на удобный стол, ты немножко постарайся, - и родишь нам сына или дочку.

- Сына! – уверенно рявкнула я, вставая, сама не знаю, как.

- Сына! – сказала она мне шёпотом, но твёрдо.

- Сына! – донеслось в троллейбус через закрытое окно.

И Клара пошла – именно пошла, а не поплелась - рожать сына.

То есть пошли они вместе – как всегда.

II

Сейчас Клара временно не помнила – о чём вообще сейчас можно было помнить? - что старалась, то есть мечтала, дотянуть до после Нового года года. По разным причинам, но главное – чтобы сыну на год позже было идти в армию. Да и вообще, считаться, что родился на год позже, всегда лучше, чем на год раньше, - разумеется, только считаться.

- А вдруг будет девочка? – с почти незаметным сарказмом спросила – или сказала – Мария Исааковна.

- Мама, такие вещи вдруг не происходят, - успокаивающе ответила Клара, садясь изучать Римское право. Профессор Фукс читал свой предмет не хуже народного артиста, не говоря уже о римском трибуне. На его лекции собиралось столько студентов, что в бездонной аудитории яблоко скорее сгнило бы на своей ветке, чем посмело упасть, - и сдать Фуксу выпускной экзамен, тем более в таком положении, было ненамного проще, чем завоевать Римскую империю. Но Клара в себе не сомневалась, и Самуил тоже. И Владимир Фёдорович не сомневался, хотя, когда говорила Мария Исааковна, он больше молчал и иногда улыбался, но улыбался он не скептически, а согласно.

- Володя, чему ты улыбаешься? – голосом императрицы, временно сошедшей с престола, спросила Мария Исааковна. – Нет, он меня когда-нибудь сведёт с ума! Решается серьёзный вопрос, а он сидит себе как ни в чём не бывало и улыбается. Володя, сейчас же прекрати улыбаться! Я кому сказала?

- Так что ж мне, плакать? – искренне, улыбнулся Владимир Фёдо-





рович и развёл руками.

Как же не улыбаться, если войны, слава Богу, нет уже целых шесть с половиной лет, квартира у них хоть и не изолированная, но не хибара какая-нибудь в эвакуации на Урале, все живы и здоровы, карточки отменили, Самуил заканчивает мединститут, Клара – юридический. У меня скоро будет внук, или внучка, особой разницы нет, но Клара уверена, что будет внук. Так что же – при этом всё́м плакать?

- Мама, - не отрываясь от написанного мягким почерком с наклоном влево конспекта, заметила Клара, - вопрос совсем даже не решается - потому что давным-давно решён. Я припоминаю приблизительную дату решения, и даже время суток, хотя точную, ввиду торжественности момента и важности задачи, назвать не рискую.

Несмотря на то, что она не уточнила, какой момент имеет в виду, реплика произвела впечатление. Полностью довольным остался только Самуил, располагавший всей совокупностью фактов, чтобы восхититься точностью формулировки, свойственной супруге. Владимир Фёдорович снова улыбнулся, а Мария Исааковна вспыхнула тихой молнией – в ответ на реплику Клары, улыбку Владимира Фёдоровича и довольную задумчивость Самуила.

III

До войны Клара жила вместе с Марией Исааковной и Владимиром Фёдоровичем в очень привилегированной трёхкомнатной квартире, естественно, изолированной, в самом, наверно, уютном районе Харькова – Нагорном, на Пушкинском въезде. Мария Исааковна работала инженером-строителем, руководила важнейшими проектами и спроектировала огромные электростанции - на Севане, на Балхаше, да что там, по всему Союзу.

Родилась Мария в Белоруссии, в еврейском местечке Речица, на Днестре.

Она была Мэри, а не Марией, но Мэри может быть только княжна, а какая княжна из Речицы? Её папа, Исаак, был лучшим краснодеревщиком во всей губернии, а мама, Клара, считалась неграмотной, и у неё было восьмеро детей. Грамоты она действительно не знала, но неграмотной не была, просто когда же выучишься, если муж с утра до вечера в мастерской, и восемь детей на руках?

Впрочем, знала она больше многих грамотных. К ней приходили за советом со всего местечка, как к Санчо Пансе на острове, и советы она всегда давала правильные - ни разу за всю жизнь плохо не посоветовала.

Из восьми детей было две девочки, Мэри и Хая, остальные – мальчики, они, когда выросли, стали социал-демократами и погибли – одни поэтому, другие позже, на войне, - не поэтому, а просто погибли.

Один из братьев оказался математиком. Он доказал недоказуемую теорему или, точнее сказать, в силу нелюбимого многими националь-





ного духа противоречия, опроверг аксиому. То есть это была не аксиома, потому что аксиому опровергнуть невозможно, но Арон не был согласен с тем, что это - аксиома, и потому опроверг её. Умеющая ценить незаурядное Петербургская императорская академия наук наградила его серебряной медалью, только Арону пришлось сменить ненаучное имя Арон на приемлемое Аркадий. А фамилия – Крупецкий – звучала почти как Оболенский или даже – если абстрагироваться от отягчающих частностей, - почти как какой-нибудь Голицынский.

Старшие в семье были постоянно заняты, так что Мэри научилась всему учиться самостоятельно. Когда Мэри была маленькой, она пошла на разлившийся за горизонт Днепр, который только неопытному или чересчур романтично настроенному наблюдателю может показаться чудным при тихой погоде. На самом-то деле даже у самого берега было полно ям и бурунов, не говоря уже о середине, едва видневшейся с высоты четырёхлетних глаз.

Но Мэри никто не научил тому, что должно быть страшно, да и вообще её никто ничему, кроме чтения и письма, не научил, а на речке это не пригодилось. И она вошла в воду так же, как в папину мастерскую разглядывать новый шкаф и праздничные стулья, или в мамину кухню – понюхать и попробовать кнедлах, латкес или фаршированную рыбу. Как можно утонуть, она тоже не знала, потому что не знала, что можно утонуть. Поэтому Мэри просто выплыла и поплыла, и ей это понравилось. Потом она – тоже сама – научилась переплывать Днепр, гулять по диковинному противоположному берегу, оказавшемуся вполне обычным, то есть таким же прекрасным, как и родной, и возвращаться домой к обеду.

Клара, как потом выяснилось, пошла по проторенному пути. Однажды, когда они гостили в Речице, она тоже решила сходить на Днепр, посмотреть, что там к чему, и искупаться. Ей было целых шесть лет, но она ещё не знала, что для того, чтобы плыть, нужно уметь плавать, - просто взяла и убежала на Днепр, тем более что до пляжа подать было даже её маленькой рукой. Никто и не заметил ничего – ну, вышел ребёнок за калитку, что тут такого, в Речице? Ни погромов уже, ни войны ещё и уже, ни даже заурядного грома с молнией. Клара бежала себе, радуясь жизни, как потом из школы домой, напевала «Смело мы в бой пойдём» и с разбегу влетела в воду, казавшуюся с берега безобидной, как свежий суп в старенькой, ещё бабушкиной, миске. Это было жутко смешно и весело, но дно вдруг провалилось в бездонную подводную яму и увлекло Клару за собой.

Несколько раз ей удалось вынырнуть, но каждый раз выныривалось всё труднее и хуже. В конце концов, сил выныривать не осталось, и она решила больше не стараться, всё равно ведь бесполезно. И тут я представила себе, как огорчится мама, когда узнает, что я утонула, и решила ради неё ещё раз вынырнуть, в самый последний раз.

В это самое мгновение её заметил моряк, молодой соседский парень, только что спустившийся к Днепру искупаться. Не раздеваясь, он





сиганул в воду, вытащил мужественного ребёнка и отнёс Марии. Мама всё-таки расстроилась, но если бы я утонула, представляю, как бы она тогда огорчилась! Значит, всегда нужно пробовать вынырнуть ещё раз – а может, кто-то как раз будет проходить мимо и поможет.

IV

Мэри была прекрасна: с густыми, разумеется, тёмными, волосами, огромными глазами немного навывкате и чуть брезгливой улыбкой.

В шестнадцать лет Мэри вышла замуж за Зиновия Стольберга, очень энергичного, незаурядного и предприимчивого молодого человека, а через три года, в последний из 20-х годов, родила Клару и бросила мужа, потому что тот раздражал её своим мнением. Собственно, не мнением как таковым – она Зиновия не слушала, – а наличием у него того, что он имел смелость считать мнением.

Вообще-то Зиновий был Зиновием в той же степени, что Арон – Аркадием. Официально его звали Залманом, поэтому формально Клара была не Клариссой Зиновьевной, а Кларой Залмановной. Зиновий хотел, правда, назвать дочку Еленой, но наличие мнения сослужило ему не лучшую службу, да и вышло всё равно так, как считала верным Мария: мальчика нужно называть в честь дедушки, а девочку – в честь бабушки.

После развода, до войны, Зиновий иногда виделся с Кларой, и было это совсем для неё нечасто – так нечасто, что почти и не было...

В Харькове – первой украинской столице – Мария училась в строительном институте и была там лучшей студенткой: если в четыре года человек выплывет в Днепре, то в двадцать он тем более не утонет на суше, какой бы неровной эта суша ни была.

Спорить с нею было невозможно, точнее, бесполезно, потому что логика и форма аргументации у неё были даже не железные, а из какого-то ещё не изобретённого тугоплавкого металла, и студенты, в основном фронтовики, недавно переодевшиеся из будёновок в кепки, банально говорили, что у неё мужской ум. Но она была женщиной. С косой вокруг головы, с огромными глазами, и с умением переплыть через любую реку, как бы трудно ни было всяким хвалёным редким птицам долететь до середины.

Каждое утро Мария шла с Пушкинского въезда на Сумскую, улыбаясь порхающей золотистой махине Дома проектов, и ярко-серому небоскрёбу Госпрома, и строящемуся зданию Правительства на бескрайней, как вся её страна, и бесконечной, как вся её жизнь, площади Дзержинского. Жизнь только-только начиналась, и рядом ещё не было лучшего в мире памятника Тарасу Шевченко, и не было даже Зеркальной струи, которая – она ещё не знала – будет похожа на её шифоновый шарфик. Каблуки послушно стучали по послушной брусчатке и робкому асфальту, в портфеле были выполненные – лучше, чем кем бы то ни было на всём потоке – домашние задания, в тубе – лучшие





во всём институте чертежи. Бесконечная в своей величественности Сумская проплывала мимо неё и плыла дальше, вниз, мимо царских зданий, дома Саламандры, громадного банка, Пушкинского скверика, нарядного украинского театра, впадала в Николаевскую площадь, на которой Марии подмигивали своими сияющими окнами здания, спроектированные ещё до Революции великим академиком Бекетовым, а ещё дальше возвышалось спокойно-серое, без глупых излишеств, здание, построенное совсем недавно, в 1925 году.

По выходным Мария сворачивала с Николаевской площади на горделивую Пушкинскую, гуляла там, где ещё не было и, казалось, не могло быть рельсов и трамваев. Она шла мимо церквей, делающих Пушкинскую похожей на купчиху первой гильдии. Мимо зданий архитектора Бекетова, напоминающих новогоднюю гирлянду или октябрьский фейерверк и поднимающих Пушкинскую до вполне заслуженного ею уровня столбовой дворянки. Она шла на свой, невозможный без неё, Пушкинский въезд – готовиться к лекциям, читать, чертить, считать на логарифмической линейке.

И, выйдя с Кларой на балкон, смотреть туда, откуда главным счастьем свалилась на них бесконечная жизнь.

V

В Марию влюблялись массово и наповал, но ей это было не слишком интересно, потому что каждый влюбившийся имел неосторожность или наглость иметь хотя бы в чём-то собственное мнение – очевидно, утверждая тем самым свою мужскую сущность. Марии же с избытком хватало собственной сущности, женской. Она только Владимиру Петкевичу позволила выслушивать и принимать к сведению и неукоснительному исполнению её мнение, и это её интересовало в нём. Он был старше, но она так не думала. Да и что за разница – шесть лет?

Владимир родился в Варшаве, когда Польша была частью Российской империи. Он работал клерком: инспектировал мясокомбинаты и овощные базы, ведал отчётностью во Вторчермете, потом работал в Управлении Южной железной дороги, в мощном старом здании на огромной харьковской Привокзальной площади. Начальство восхищалось его надёжностью и пунктуальностью. Он всегда знал, где найти нужную из множества бумаг, потому что ничего никогда не искал: все документы, написанные мягким прямым почерком без малейшей пометки (Владимир Петкевич и пометки?), не искали, а находились в единственном - нужном - месте в нужное, да и вообще в любое, время.

В юности Владимир увлекался такими же юными, как он, балеринами, а в зрелости влюбился в Мэри, то есть, точнее сказать – Мэри он полюбил.

Она разрешила ему испытать к себе это чувство, только когда убедилась в том, что он не собирается ни в чём ей возражать. А он и не думал возражать – он любил Марию и Клару сильнее, чем люди обычно





любят других людей.

Ещё он любил футбол, только не играть – играть он не умел и не любил, - а смотреть. Когда Владимиру было двадцать лет, сборная Харькова выиграла первенство страны, и он собственными глазами видел Привалова, Кротова, Норова, Казакова, братьев Фоминых.

- В 21-м году в Одессе, - с улыбкой рассказывал он Кларе, - Казаков попал в перекладину, и она рухнула на голову одесскому вратарю. Представляешь?

Мария даже не пожалала плечами, только возмутилась, чему он учит ребёнка, а Кларе захотелось увидеть, как падает перекладина, и она увлеклась футболом. Владимир же Фёдорович, наоборот, к футболу немного охладел, потому что после Привалова так в футбол уже никто не играет.

Владимир не умел плавать и служил в армии на баркасе рулевым, ведь с его комплекцией грести бессмысленно, а рулевым – в самый раз, и кроме него никто бы толком не справился. Он сидел на носу, громко и чётко отсчитывая:

- Раз-два, раз-два!

Я отсчитывал, чтобы гребцы не сбились с темпа, и они гребли. Однажды, под Форосом, это недалеко от Севастополя, наш баркас попал в мёртвую зыбь. Знаешь, что такое мёртвая зыбь? Это когда на поверхности вода как стекло, а под ней – отчаянные буруны, как будто кто-то взбалтывает воду. Мёртвая зыбь, ну её к аллаху, лодку не перевернёт, но человек может уснуть. Я считал, считал, а потом как будто провалился куда-то, и если бы матросы не сбились с ритма и не обернулись, меня бы уже на свете не было. А они сбились, потому что я уснул и перестал считать. Только благодаря им и спасся – иначе уже не проснулся бы никогда.

Рассказ Кларе понравился: он был ещё страшнее, чем штанга, падающая на голову вратарю.

После окончания института Мария бывала дома реже, чем в командировках, поэтому воспитывал Клару Владимир Фёдорович. Точнее, он не мешал Кларе расти и воспитываться, охраняя этот процесс.

VI

В садике Клара была главной после воспитателей, хотя почему так получилось, она не знала и не задумывалась над этим. Просто все уважали её мнение – возможно, потому, что ни у кого, кроме Клары, своего мнения не было, только у воспитателей. Она руководила всеми играми – в квача, в жмурки, во что угодно, и никогда не была последней курицей, которая жмурится, а жмурилась только тогда, когда ей этого хотелось, а не когда ей это почему-то выпадало (чтобы Стольберг – и вдруг выпало?).

Дома тоже было хорошо, - даже больше, чем то же. Клара прибежала домой из садика, потом из школы - как оказалось, привилегированной,





на их привилегированный, как тоже оказалось, Пушкинский въезд, в их потрясающую квартиру, где поначалу, до появления Владимира Фёдоровича, было пустынно – райское изобилие продуктов, даже всякая икра, - но не было мамы. Мама была в командировке – в Средней Азии, на Кавказе, в Сибири, на Байкале, в Крыму, на озере Балхаш, на урановых рудниках. Мария Исааковна летала с места на место в небольшом, особом самолёте. Она была инженером-конструктором высшего класса, но конфликтов с теми, кто присылал за ней самолёт, у неё ни разу не возникло: я никогда не позволяла себе лишнего и никому ничего не рассказывала, в том числе об урановых рудниках.

Дома у Клары были бесконечные, но совсем даже не нелюбимые домашние задания, и ещё марки и монеты, и белый рояль. И ещё сотни или тысячи книг, которые легче перечитать, чем пересчитать. Читать Клара научилась так же, как Мария - плавать, и почти одновременно с нею, только не в четыре года, а в три. Поэтому дома всё равно было интереснее, чем на улице. Везде, кроме дома, она чувствовала, как ей не хватает родителей, а дома она этого почти не чувствовала, дома было ощущение восемнадцатого века, в котором не довелось родиться, белый рояль, марки с неприступной Викторией и с Георгами, не похожими ни на Victoriю, ни друг на друга, серебряные петровские и николаевские рубли.

Потом появился Владимир Фёдорович, и стало лучше. Он улыбался, всегда поддерживал, никогда не раздражался и тем более не злился (Владимир Фёдорович и раздражение?) и в чём мог помогал, в том числе - собирать монеты и в особенности марки, хотя увлечения всеми этими бесполезными королями и королевами я никогда не понимал, наши марки гораздо полезней и интересней. Ну, да какой с ребёнка спрос.

Он водил Клару в Сад Шевченко, во Дворец пионеров на ёлку и на все возможные праздники. Во Дворце пионеров её однажды сфотографировали с подарком, она сидела на коленях у самого Постышева, и Мария Исааковна очень гордилась этой фотографией. А Владимир Фёдорович просто улыбался, ничего не говоря, но думая про себя, что ещё неизвестно, кому следовало гордиться, и снова водил Клару повсюду – в прекрасный парк Горького и бескрайний Лесопарк, по теряющей с каждым годом старую закалку Пушкинской, по звякающей трамвайными звонками и стучащей на рельсовых стыках Бассейной, по задумчивой Чернышевской.

VII

Роза была родом из местечка под Мариуполем, его – Мариуполь - потом переименовали в Жданов. А Семён был из Латвии, из Либавы, и Самуил знал несколько фраз по-латышски. На либавском рынке всегда отвечали, если обратишься на идиш и тем более на латвийском, и идиш очень даже уважали. А если на русском – могли не ответить.



Родные братья Семёна сразу после Революции поехали в Уругвай, хорошо там устроились, открыли каждый своё дело. Один Моисей на пару недель вернулся в Либаву проведать тётцу, и тут же началась война. Он там и погиб, под Либавой, в ополчении. Зато Абрам открыл в Монтевидео мясную лавку, поставил детей на ноги. А потом к власти пришли фашисты, они к бизнесу и к евреям относились не очень хорошо, если не сказать скверно, поэтому пришлось переехать в Израиль.

Назвали Самуила Самуилом в честь дедушки, маминого папы. Дома его называли «Муля», но во дворе никто не смеялся, потому что, во-первых, попробовали бы посмеяться, а во-вторых, во дворе его называли как своего – Сеней или Сёмой. Да они и были все своими, чужих среди них не было, откуда взяться чужим?

Самуилу никто никогда не помогал, он любил и учился справляться сам, хотя получалось это с переменным успехом. Очень хотелось стать врачом, но какие врачи, когда мешки тягать некому? Интересно, если бы не он, кто бы тогда тягал?

В Ворошиловграде было здорово, даже речка была, Луганка, правда, в ней особо не поплаваешь, но лучше же, чем когда вообще нет реки. Ещё в Ворошиловграде был дом-музей Ворошилова, про него – про Ворошилова – им в школе много рассказывали.

Вообще, в школе было интересно, и учился он здорово, лучше почти всех, вот только иногда, когда проходили скучный материал, хотелось взять и заорать, чтобы все оглохли, - «А-а-а-а!!!!», и как ему удавалось сдержаться, наверно, одному Богу известно.

В начальных классах, да и в пятом, учителя, бывало, заставляли зарисовывать в учебниках портреты великих людей, это было классно, к шестому классу мало кто остался.

Летом вместе с Гришкой, лучшим другом Самуила, ходили на Луганку или мотались на велике. Вызывали друг друга из дому условным свистом – «чижином-пыжиком». Вообще, свистел Самуил лучше всех – и на красоту, и «колечком», и двумя пальцами, и тремя, и одним – мизинцем.

Они гоняли по улицам, дворам, проезжим и непроезжим частям, да так, что куры взмывали ястребами, лошади икали вместо того, чтобы ржать, искры не только летели, но даже клубились, а прохожие ругались словами вроде «шпана» и ещё более бессмысленными и несправедливыми.

Однажды Гришка рулил хладнокровно, как всегда, но на чкаловской скорости наехал вдруг на какой-то дурацкий камушек и полетел через руль, а Самуил слетел с багажника и проехал носом между истерическими гусями и полудохлой от избыточного веса свиньей. Было больно и досадно, что сломали велик, а народ валит валом и пялится хоть бы хны, но всё прошло, как любая боль и любая досада, а вот нос остался навсегда чуть кривоватым, хотя, правда, это не так уж было заметно. Да и почти незаметно, чего там.

И ещё здорово было, когда снег валом валит, словно народ на фут-



бол, а ты несёшься как угорелый на лыжах, орёшь «А-а-а-а!!!!», и сейчас это можно, сейчас тебе всё можно, никто и слова не скажет. Да и некому сказать, все по домам сидят, кроме них с Гришкой. В такой вечер дома сидеть – не придумаешь, что может быть глупее.

VIII

Владимир Фёдорович и Клара шли в зоопарк.

Их вела губернская Сумская - мимо детского садика и необъятной площади Дзержинского, мимо горделиво глядящего поверх всех голов здания военной академии, мимо пытающегося взлететь над площадью светло-жёлтого, словно ещё не успевшее как следует проснуться солнце, Дома проектов, где работала Мария, мимо пасмурно торжественного Госпрома, потом Дворца пионеров и памятника Шевченко.

Владимир Фёдорович крепко-накрепко держал Кларину руку, потому что если Клару не удержать, попробуй уследи за ней и догони. На нём был летний белый костюм, а на голове, конечно, соломенная шляпа. Они шли не спеша, и Клара рассказывала о сенсационном открытии, сделанном ею сегодня перед гулянием: о том, что российский царь Николай, которого Владимир Фёдорович называл Николашкой, как две капли воды похож на британского короля – Эдуарда или Георга. Да какие там две капли – самая настоящая одна-единственная капля, только король – на марке, а царь – на монете. Владимир Фёдорович улыбался, пытаясь перевести разговор на марки, посвящённые Папанинской экспедиции, но Клару, как и Марию, отвлечь от красной линии было невозможно.

- Владимир Фёдорович, вы только послушайте, - говорила Клара, перебивая и его, и всех на свете. – У них же борода одинаковая! То есть бороды. И усы, - ну, всё одинаковое, всё! Ну, скажите, как это может быть?

- Почему тебя так заинтересовали их бороды? – улыбнулся Владимир Фёдорович, весело глядя на прохожих и гордясь тем, какая у него эрудированная и наблюдательная дочь.

- Здравствуйте, Володя! Здравствуй, Кларочка! – подошёл к ним Зиновий. – О чём так оживлённо беседуете?

- Папка, ты представляешь, наши цари – наш и английский – это, наверно, один и тот же человек! – сообщила Клара главную, сногшибательную новость.

Зиновий поцеловал её в обе щёчки с ямочками и пожал руку Владимиру Фёдоровичу.

- Ну, что за ребёнок, - закуривая папиросу из красивой, диковинной, деревянной коробочки, улыбнулся Владимир Фёдорович. – Какие же они наши? Нашего Николашку, ну его к аллаху, давно, так сказать, свергли.

- У них там, - добавил Зиновий, угощаясь из красивой коробочки Владимира Фёдоровича, - не царь, а совсем даже король. Как ваши



дела, Володя, что новенького?

- Вот идём в зоопарк, Зиновий, - сказал Владимир Фёдорович. Мария работает, а я сегодня взял отгул. Хотели ещё вчера сходить, но погода помешала.

- А я, - рассмеялся Зиновий, - погоду любую люблю. Какая бы ни была - лишь бы была, хоть какая-нибудь.

- Я с вами полностью согласен, Зиновий, - кивнул Владимир Фёдорович. - Но всё-таки в зоопарк лучше посуху идти, чем по лужам шлёпать.

- Так-то оно так, - вздохнул или затыкнулся Зиновий, Клара не разобрала. - Но мы-то с вами знаем: придёт время, когда уже не будет совсем никакой погоды...

Он снова рассмеялся и добавил:

- Так что пусть уж будет, какая угодно!

Владимир Фёдорович снова кивнул. Зиновий пожал ему руку, поцеловал Клару.

- Папка, ну ты пойми, - попробовала Клара убедить его то ли понять, то ли не спешить, - какой же он король, если вылитый царь?

Зиновий прижал её к себе и, подмигнув Владимиру Фёдоровичу, решил задачу по-Соломоновски:

- Любой король, зайныка, в душе царь, а любой царь мнит себя королём. А вот ты у нас - лучше любой царевны и королевны. Правда, Володя?

- Конечно! - подтвердил Владимир Фёдорович. - Иногда немножко непослушная, но это царевнам и королевнам полагается по штату.

Зиновий улыбнулся, помахал им рукой и пошёл в противоположную от них сторону, наверно, к себе на Маяковскую.

IX

Клара с Владимиром Фёдоровичем уже подходили к воротам зоопарка, и тут увидели крохотную собачку, показавшуюся Кларе заводной мышью, похожей на крохотную собачку. Мышь вела за собой на поводке даму в теле, гордую и грандиозную, как дом Саламандры на Сумской, или даже как целый Госпром. Мышь разнюхивала что-то на асфальте и вынюхивала в близлежащей траве. Клара забыла о необъяснённом сходстве двух королей, то есть короля и царя, и принялась прикидывать, удастся ли мышши утащить даму в кусты, но тут случилось непредвиденное.

С мышью и дамой поравнялась другая пара - чёрная громила без намордника («немецкая овчарка», - пояснил, наклонившись к Кларе, Владимир Фёдорович), ведущая на кожаной вожже даму интеллектуального вида и невзрачного цвета, как немецкая церковь на Пушкинской. Фигура дамы напомнила Кларе поставленную стоймя оглоблю. Они втроём - громила, вожжа и оглобля - смотрелись как неразделимое целое.





- Чудище обло, огромно, озорно... - процитировала Клара.

Вообще-то, чем больше Кларе встречалось в жизни собак, тем явственнее убеждалась она в их неотделимости от хозяев, хотя утверждение о сходстве хозяина с собакой не подтверждалось, она специально сравнивала. Вот король – снова вспомнила она - тот действительно похож на царя, а чем же мышь с громилой похожи на своих старших подруг? Клара призадумалась.

И ту как раз мышь, увидев приближающуюся немецкую громилу, открыла свою микроскопическую пасточку (то же мне, пасть называется) и взвизгнула, а потом завизжала – с таким остервенелым вдохновением, что у Клары от ужаса вспотела рука, за которую её держал Владимир Фёдорович. Мышь подпрыгивала на поводке, взвивалась в воздух, напрыгивая на громилу и доставая при этом до мощной щиколотки пытавшейся сдержать её дамы. «Если бы, – подумала Клара, – на мыши была холщовая рубаша, она бы отважно разорвала её на груди». Впрочем, груди как таковой тоже в принципе не было, как и пасти.

Громила, не обращая верховного внимания на мышиный писк и не натягивая вожжу, проследовала своей дорогой. Но мышь визжала так болезненно и неостановимо, что громила решила вывести её из болезненного состояния и, повернувшись, сочувственно сказала: «Гав!», после чего повела свою хозяйку дальше.

В ответ в зоопарке, услышав родную речь, взревели львы и взвыли шакалы. Вороны на окрестных деревьях подавились голландским сыром. Штанги троллейбусов на Сумской слетели с проводов.

- ... и лая, - закончила Клара цитату.

Громила интеллигентно вздохнула при виде причинённых ею неудобств и увлекла подругу за собой, по-прежнему не натягивая вожжу – «чтобы вожжа не попала ей под хвост», - сказал Владимир Фёдорович, которому, кажется, совсем не было страшно.

Придя в себя от неожиданности, Клара назидательно подняла указательный палец и, успокаивая саму себя, проговорила:

- Вот что бывает, когда лаешь на слона.

Тем временем хозяйка мыши пыталась сдвинуть бедное окаменевшее животное с места, тянула за поводок и приговаривала, - но то, вернее та, окаменела и смотрела стеклянным взором в прозрачную пустоту. Наконец, хозяйка обеими руками отодрала своё возлюбленное существо от асфальта и унесла с места ужасного происшествия, глядя и целуя. А на месте происшествия, где только что неотрывно сидело её окаменевшее дитя, осталось мокрое пятно величиной с копейку.

- Не бойся, - сказал Владимир Фёдорович и погладил Клару по голове. – Большие собаки умные, они детей не кусают. А маленькие, может, и хотели бы укусить, да нечем. Ну, и аллах с ними.

Он достал папиросу из красивой пластмассовой или деревянной коробочки, вернее, диковинного футлярчика, и закурил. Они пошли в зоопарк, а Клара всё думала о разных собаках, задавая себе вопрос, на



который не находилось ответа:

«Одна собака, и другая тоже ведь собака. Почему же они собачатся?»

- Рассобачились тут! – с наслаждением выговорила она новое смешное слово, длинное, как скакалка или хвост гигантской мыши, и повторила несколько раз, подняв щепотку и присвистывая на двойном «с»:

- Рассобачились!

И ещё Клара вспомнила самое любимое выражение, которому её когда-то в раннем детстве научил Владимир Фёдорович, и представила себе плачущего кота, наплакавшего мокрое место вместо крохотной моськи, похожей на мышь.

Владимир Фёдорович, улыбаясь, развернул Кларе круглую длиненькую барбариску – красную, сочную и сладкую. Поглядывая по сторонам – слышат и видят ли их прохожие, - он вёл Клару в зоопарк и гордился тем, какая у него разумная дочь.

Х

Когда они пришли из зоопарка, мама была дома – она только что вернулась из Ленинграда, из командировки. Их дверь на балкон была открыта, и суп с кнедлах распахся на весь Пушкинский въезд. Такой суп им варили бабушка Клара и тётя Хая в Речице, и ещё они готовили потрясающие вышкварки, не говоря уже о фаршированной рыбе. На ту рыбу, с ароматом Речицы, а потом Харькова, невозможно было насмотреться, и есть её было жалко, а когда всё-таки начнёшь – кажется, что ты даже не на седьмом небе, а на семнадцатом.

- Как тебе зоопарк? – прервала её внутренний диалог Мария, когда Клара вымыла руки.

Зоопарк мне не понравился в принципе, он был похож на какую-то звериную тюрьму. Хорошо бы прозвучало: «Зверская тюрьма». Или, ещё эффектнее: «Животная темница». Ну, в самом деле: здоровенный бурый медведь – не Топтыгин какой-нибудь из дошкольной басни, не обёрточный мишка косолапый, а настоящий бурый медведь, - мечется взад-вперёд, как узник Петропавловского равелина, а всякие малолетние сямки, которым самое место на его месте, бросают ему за решётку конфеты и хохочут от собственного величия и щедрости. Вот бы они похотали, если бы медведь – не конфетный, а этот, настоящий, - взял бы да и вышел из своего равелина, да вежливо попросил бы их самих проглотить все эти конфеты разом, прямо в обёртках!

- О чём задумалась? – улыбаясь, спросил Владимир Фёдорович?

Мария заметила:

- Володя, ты что, не видишь – ребёнок стал рассеянным. Слишком много уличных впечатлений. Нет чтобы спокойно посидеть дома и почитать книжку. Зачем ты опять потащил её в зоопарк?

Владимир Фёдорович развёл руками:

- Если она будет читать такими темпами, книг больше не останется.





Писатели за ней не успевают. А так ребёнок три часа дышал свежим воздухом.

- Какой ещё свежий воздух в зоопарке? – возмутилась Мария. – Петкевич, ты почему меня нервируешь? Зачем ты заставляешь ребёнка дышать всеми этими слонами и верблюдами?

- Там так здорово пахнет! – вмешалась Клара, чтобы развеять тучу и успокоить маму. На самом-то деле в зоопарке совсем даже не пахло, а наоборот. Если воспользоваться словом, которое она как-то услышала от Владимира Фёдоровича, то картина получится реалистичной, как у передвижников: «Зловоние». Нужно поднять пальцы щепоткой и выговорить, со вкусом и пониманием, выделяя оба «о», особенно второе: «Зло-во-ние».

- На всей Сумской и на всей Пушкинской нет такого запаха, как в зоопарке! – заверила она маму, подразумевая именно «зло-во-ние», но главное – успокоить её и мирно доест последний кнедлах.

Владимир Фёдорович рассмеялся и добавил:

- И ещё мы выясняли, чем наш Николашка похож на английского короля. Мария, ты себе представляешь, Клара нашла у них много общего!..

Мария посмотрела на Владимира страшным взглядом и произнесла, как приговор:

- Петкевич, ты знаешь, зачем человеку зубы? Ты думаешь, чтобы скалить их? Нет, чтобы держать за ними язык.

- Верно, согласился Владимир Фёдорович, улыбаясь уже по инерции, - а то их могут выбить. Кому выбивать найдётся, а что выбивать – тем более.

Помолчи, Петкевич! – закончила Мария дискуссию. - Или я сама сейчас это сделаю. Это же надо такое придумать: «наш» Николашка. Ещё и ребёнка подучил! Чтоб я этого больше не слышала!

На этом она посчитала беседу оконченной и, немного успокоенная, строго обратилась к Кларе, когда та встала из-за стола:

- Вот тебе подарок. – Стихи Пушкина. Эту книгу только что выпустили – к столетию со дня смерти.

Книга была нетолстая, кофейная, отливающая перламутром.

На свете счастья нет, а есть покой и воля –

прочитала Клара первую попавшуюся на глаза строчку.

Повторяя её про себя, она вышла на балкон. Под нею был Пушкинский въезд, задумчивый и загадочный, как прочитанная и повторённая, но не ставшая менее непонятной строчка. Кто-то невидимый хозяйски дунул ветром на тополя, и тысячи невесомых белоснежных капустниц полетели над Пушкинской, над Пушкинским въездом, над всем Харьковом.

Почему же нет, если оно есть? Вот ведь оно – летает этими невесомыми зефирчиками, шумит бессчётными тополями, клёнами, кашта-



нами, дубами, отражается солнечным зайцем в окне напротив...

Почему же – нет?

Кларе почудилось, что девочка, тоже Клара, сейчас, только не теперь, вышла в свой речинский двор. Увидела тот же мир, разве что немного – только совсем немного – другой. Поправила волосы. Чихнула от яркого солнца., похожего на зайца. Подумала, что будет делать сегодня, куда они пойдут с родителями, с кем будут разговаривать и о чём. И... Ну как же объяснить это самой себе?.. Сейчас – именно сейчас – её нет, но ведь она – была. И вот никто даже не задумывается о том, что она сейчас, прямо сейчас – только не теперь – стоит посреди своего двора, поправляет волосы, думает о том, как пройдёт сегодняшней – только не теперешней – день... Вот – ну вот же - её позвала мама. Вот они все нарядились – сегодня же суббота. Вот они пошли все вместе гулять по Речице. Вот они идут в гости. Садятся за стол. Разговаривают, хохочут, ушлетают суп с кнедлах.

Вот они – есть.

Вот они – были...

Может быть, поэтому счастья и нет? Потому, что нет того, что было, и тех, кто был, хотя вот же они – есть...

Клара стояла на балконе и, конечно, ещё не думала об этом, просто что-то промелькнуло, проплыло, словно капустаница-пушинка, но потом – не часто, но всё же иногда – приплывало к ней снова, всё отчётливее, а ответ так и не появлялся – долго, очень долго не появлялся... Да и как ему появиться, если даже неизвестно, есть ли он вообще? Не исчезает ли каждый раз вместе с теми, кто сначала есть, а потом – был...

И, возможно, счастье – это тот самый ответ, исчезающий вместе с ними?

Перламутровый вечер занял место уплывшего вместе с безвоздушными зефиринками дня. На балконе, выходящем на Пушкинский въезд, Клары уже не было, и она ещё не знала, что кто-то будет думать, что был такой день, когда Клара вышла на балкон и мимо неё проплывали и уплывали пушинки, похожие на невесомых капустниц.

Продолжение следует.





Геннадий Креймер

Ганновер – Санкт-Петербург

Записки по кругу

Счастье. Говорят, Лев Толстой в старости любил подсчитывать: в седле провел – 7 лет; счастлив был – 2 недели. А я? В самом деле, бывает, вспомнишь задним числом: так вот же оно, по всем приметам; что ж ты тогда?

Но в тот вечер – все сошлось. Душа готова к празднику. Свежий осенний дождь, кругом огни и какая-то музыка, или нет музыки, все равно, в магазинах и барах тепло, там люди, а под дождем никого, я почти один на пустынном и совершенно неинтересном проспекте, и огни фонарей и фар цветут на ресницах павлиньей радугой.

Нет. Немного назад.

Из Домодедова автобус едет долго-долго. На окраине города – окраина все еще необъятной империи. А кто говорит без акцента – говорит с трудом и не много: только что освободился, купи мне пива. Потом «салон связи», ларек, собственно. Звонок Шурупу. Он всегда приютит. Приходи после одиннадцати. Ах, это неважно, совершенно неважно, мне так нравится гулять! Потом... боги, как я волнуюсь! – ну вот, абонент временно недоступен.

Поголяю пока, потом в центр. Можно купить у доброго грузина колбасу и помидор и съесть. Оно и лучше, если здесь. Шуруп не любит, когда к нему в дом несут убоину в виде сосиски или, там, пирожка.

В метро. Парень открывает пиво, пена льется ему на руки, на пол, и снова льется, я смотрю на его руки, а он на меня. Оказалось, тот самый, что подключал мне телефон. Поговорили. Хороший такой, едет к жене с работы. Арбатская площадь. Снова звоню. И – чудо! – сквозь годы тоски и ошибок, сквозь тьму и дождь – такой милый, доверчивый голос: была на занятиях, увидимся завтра, проснешься – звони. Как я люблю этот дождь! И пустыню Нового Арбата. Идти далеко. Через реку, и дальше, до самых Филей.

А у Шурупа хорошо. Все маленькое, но уютно. И можно выйти на балкон. Когда весна – двор зеленый. И высоченные пахучие тополя. Похоже на отрывок из какого-то сна. Надо вспомнить.

На южном берегу Франции октябрь – еще лето. Только ночи уже прохладнее. А безоблачным днем (интересно, как по-русски *argemidi*?) даже фавны ищут тени.

Вот так, ранней осенью, в тени пинии, на холме, над которым понемногу начинали громоздиться приморские Альпы, а внизу подозрительно призывно поблескивало море, я ощутил такое обострение





уже умятого было одиночества, что из этого марева, каких-то снов, припудренных воспоминаний и обещаний я начал лепить мечту. Дело опасное, скажете вы, и будете правы. Но – бывает такое небо, такая игра лучей, когда возникает само собой видение усадьбы, где родная душа под сенью сирени грустит, читает книжки, ожидая только твоего звонка, чтобы воплотиться.

Еще немного назад.

Не так давно я перебрался в Берлин (как замелькали страны, торопясь догонять детское воображение). Где-то неподалеку от пре-словутой стены («вы покидаете американский сектор») я увидел впервые Сашу с ее мамой, обернувшись на звук русской речи.

Немцы, конечно, хороши, интересны (я, кажется, невольно охнул, не учтя действия нордического удава на неокрепшую славянскую душу), но все равно, дома и роднее и зеленее.

Саша дичилась, худая, высокая, что-то отдаленно змеиное в широковатом лице и немного раскосых глазах. С мамой-Верой было попроще: смешливей, дружелюбней. Обе много читали, жили скорее нелюдимо, Саша «интересовалась психологией», читай: была нервной и трудной. Ритуальный обмен телефонами, звони, когда будешь в Москве.

«Что-то было» в этой угловатой повадке, в говоре, голосе, взгляде. Все равно не объяснить, как и когда осветитель наводит на избраницу свои софиты. Как не смогу объяснить, почему не стал звонить сразу. Может быть, Сократов хранитель говорил: погоди; может быть, медленно давала росток луковица чего-то странного и темного.

Только время шло, и номер их зарастал в записной книжке другими более или менее сорными номерами. Звонить становилось все труднее. Да так бы, пожалуй, и не решился, коли бы не этот полуденный блеск.

Пробный звонок, как говорится, прошел нормально. Завязалась переписка. Маленькое отступление. Мечта при и по своем зарождении не обязана возвращаться в «реальности» (какой-то фильм: в грязь шлепается бомбочка с горящим фитилем и там вертится), она растет сама по себе, питается химерами, и закон ей не писан. То есть может и есть там своя химерическая причинность, но проследить ее...

Конечно, кот был – в мешке. Придумашь одно, встретишь другое. Сюрпризы – были. Позже я долго ломал голову: что это? очаровательная непосредственность? природная лживость («вечная женственность», как я шутил про себя)? большая фантазия? раздвоение? но это – позже.

Пока же я, трепеща, потихоньку говорил о Дюфае, Ронсаре.

– А у тебя есть стихи о любви? Мне это сейчас важно.

Уныло представилось: сидит у алькова слепой менестрель и бряцает. Встряхнусь: нет, все ерунда. Отправил стихи. Говорит: хорошо. Я и рад.



Или: плохое настроение, с кем-то там разругалась. А в чем дело – молчит. Или скажешь в шутку: воспитанная девочка. А в ответ такое: я не девочка; уже 2 месяца. И прячешься на ночь в свою конуру. Поскулишь, а утро наступит – ну так что ж, что уже? и пора бы, и с кем, так сказать, не бывает. А потом снова: кретин! чем мечтать на горе, ехал бы раньше, успел бы.

Но все это, повторяю, мечте не мешало. Та пухла, росла, оформлялась. Случалось, звоня, попадал на маму; из обмолвок узнавал интересное, ободрялся.

К Рождеству засобирался в Россию. Заеду, познакомлюсь поновому. «Жду тебя и подарки» (музыка, книжки). Доехал. Вроде бы рады. Видно: к гостям не привыкли. Даже сесть толком некуда, кухня тесная (а дальше не зовут), стулья валкие, посуда не мыта, таракашки шныряют. Тоже трогательно. Интеллигенция, значит, безбытная. Из высокого окна видны такие же, большие, страшные дома, шумит шоссе (Дмитровское), угадывается кусочек парка (Лианозовского).

Посидели. Разговор клеился вяло. Мама уткнулась в свою комнату. (Впоследствии Саша скашивала глаза с зловещим шёпотом: «подслушивает!»; мир в доме был бабий).

В общем, ничего примечательного в этом вечере не было. Но ближе к ночи запиликал телефон, и я понял, почему Саша в кухне присутствовала только условно. Более резкого преобразования я никогда не видал: тусклое лицо расцвело и сияло. «Мне надо выйти ненадолго, ты маме не говори», – зашептала, будто младшему братику, который должен быть за нее страшно рад. Разумеется, братик выскочил первым, успев пожелать всяких благ. Рождество, хоть и в правильном месте, в деревне, в первый раз в жизни прошло незаметно. Все поскучнело, как если бы вдруг кончилось детство.

Почту я электронную не проверял. «Таков обычай деревенских». Да и кто мне напишет? Мечта – как воздушный шар после праздника – сдулась, хорошо еще, сравнительно быстро и безболезненно, как говорят немцы. Перед самым отъездом решил заглянуть. Гляди-ка, есть. Но когда я его, письмо, раскрыл – господи, это был сорвавшийся крик (насколько позволяла бездушность e-mail'a): «мне не нужен никто; если ты не приедешь – ...» – подразумевался всхлип и захлеб. Что-то одно было – бред: или что я видел тогда, там, своими глазами, или то, что я вижу сейчас, ими же.

Въезжаю на лифте на 9-й этаж, как на 7-е небо и попадаю в объятия, как в сон (или и все это сон? - но на это ответ впереди). На той же кухне (такая она чудесная!) в ужасно неудобной позе (хотя какое это может иметь значение!) обнимаю Сашины колени и совсем раскисаю.

Но близиться полночь, пора на метро, до Филей далеко. До зав-





тра. Звони... (и теперь уже навсегда, - мысленно прибавляю, спеша по морозцу).

На следующий день (я у друга в мастерской) приблизительно такой разговор (по телефону): все это была волшебная сказка; но сказка про Золушку; пробил полночь – и волшебство отлетело; конечно, с тобой интересно и все такое, но чтобы мне увлечься физически (так и сказала!) «он» должен быть грубым, жестоким, и иметь особенный запах.

До сих пор я не понял, кто из нас был Золушкой. В то время я еще не открыл для себя спасительную заповедь (я и сейчас далек от того, чтобы ей следовать): не слушать, что девушки говорят. Привычка видеть смысл в словах (а не за словами) не раз заводила меня в тупики. Но всерьез я задумался об этом именно тогда. Впрочем, вряд ли бы мне что-нибудь помогло. Выход был один. Проснуться.

Поезд нашелся только около 2-х ночи. Еще и с Курского вокзала. Пустой Покровский бульвар засыпало снегом. Вдалеке, для масштаба, гуляла девочка с собакой.

Разбитая имперская столица встретила меня своим желтым слякотным зевком. Обычные дела, визиты, обычная коммуналка, обычная тоска. Прошла неделя или две, я не выдержал и позвонил. Солнечный, тихий голос. Да. Без тебя скучаю. Да. Может быть. Давно хотела в Питер. И на прощание: я тоже тебя целую.

Ну что сказать? Одно дело жить без мечты, и совсем другое – с мечтой. А кто советовал забыть, плюнуть – просто не понимали этой разницы.

По ходу сборов обнаружилось трогательное обстоятельство. За исключением того полета за границу и еще какого-то санатория в Тарусе, Саша никуда из Москвы в жизни не выезжала (что по-своему доказывает самодостаточность Москвы, что в ней, как в чеховской Греции. все есть).

Нужно было ей рассказывать, где и как берут билеты, где – вокзал. Когда среди ночного зала ожидания Саша громко сказала в телефон: «Я же никогда не ездила на поезде!» – проснулись все. В вагоне долго залезала на полку, смотрела в окно на заснеженный лес, никак не могла взять в толк, зачем мне точное время прибытия поезда.

Дома Саша заявила, что в одной комнате со мной жить не будет, что ем я не то, а две сигареты, без которых мне не заснуть – совершенно неприемлемы, равно как и полстакана вина за ужином («алкоголизм»). Примеривала, так сказать, ежовые рукавицы, которые все равно не собиралась носить.



В Эрмитаже я должен был пройти с ней всю (!) коллекцию за 2 часа (больше ходить она не могла, уставала); при этом (войдя и уже успев расстроить меня какими-то придирками) остановилась у этрусков, подчеркнуто ожидая толкового рассказа, и, не дождавшись, саркастически пожалела, что не взяла на входе трубку «audio-guide».

Потом немного оттаяли, но я все равно не понимал, интересно ли ей то, что я говорю о Людовике XIII или Веронезе, и вообще, слушала ли она меня (забыл сказать: учится Саша на искусствоведа). Зато когда мы вышли на закате в Адмиралтейский сад, Саша сказала, смущаясь, как маленькая: ты мне очень нравишься.

В эту ночь, сообразив, что жилье мне проще найти для себя, чем для нее, я поплелся к приятелю на Гражданку. Стояли морозы, вокруг трамвая носилась метель, и городу все это было очень к лицу.

В отношениях наших я даже не пытался разобраться. Все было ново и изнурительно, а Шашины причуды подводили меня к самому краешку нервного срыва. И как-то вечерком, придя с покупками, я почувствовал хороший, крупный озноб. Должно быть, в душе Саша была все же девочка добрая.

Заметив, что мне холодно, она позвала меня к себе под одеяло погреться. Если через 10 минут я еще дрожал, то уже не от озноба. На ней была какая-то пижамка, которая потом куда-то исчезла. Удержусь от дальнейших подробностей, продолжавшихся еще долго.

Впрочем, ничего важного так и не случилось; в самый решительный момент зазвонил телефон, нарочно, должно быть, созданный для таких моментов. После чего мне было предложено удалиться к себе за шкаф (где я соорудил себе походную нору), так как до свадьбы мама не велит.

Боги! так значит все, что она мне говорила – да вот хотя бы давеча на Невском, смешно отчитывала меня, что заглядываюсь на девиц, и тут же поминала, говоря о себе, Альбертину, и что «мальчики» ей попадают все больше эклектические, и что в ее возрасте невинность это смешно; и вот – подите же! – бегу, бегу за шкаф. Ждать за шкафом я, как форменный паладин, был готов и год, и два: когда к тебе в руки сваливается такое сокровище, обращайся с ним бережно.

Гуляли мы не много. Были в Таврическом саду и у Смольного, благо рядом (я живу на Шпалерной), а однажды дошли до Никольского собора и Новой Голландии (лед на Мойке, черная в сумерках арка). Уставала Саша и впрямь быстро, а устав, делалась тяжелой и неприятной.





Все больше убеждался я, что с ней не все в порядке. Выходки и фантазии – ладно. Но чтобы заснуть, например, она съедала пригоршню каких-то подозрительных таблеток, а уши затыкала смешными мягкими пробочками в виде конуса. По ночам я просыпался от пиканья телефона, на котором что-то кому-то пишут. Разряды потрескивали вокруг Саши постоянно.

Наконец разразился и скандал. Я-де лжец и подлец, обещал ей отдельную квартиру, а сам всегда здесь, практически ее изнасиловал и больше она со мной не разговаривает (и действительно замолчала, а мои попытки заговорить обливала презрением). Да. И что ей срочно нужно готовиться к занятиям, а потому она уезжает.

Поддействовало это на меня тем сильнее, что я был расшатан, тих и не готов. Пожалуйста, поезжай (очень мне нужны ваши ночные sms-ки!) – и я выбежал курить на лестницу. Вдруг из лифта выходит очаровательное создание с большущими восточными глазами. Я сразу же приглашаю ее в гости завтра вечером, после того как отправлю из дома всех умалишенных.

С утра мы с Сашей (молча) собираем ее пожитки и ясным, морозным, совершенно безумным полднем идем напрямиком на вокзал. Билет, купленный на какое-то там число, меняем на ближайший, ничего, что только купе, лишь бы уехала. Подходим к поезду – она в слезы: ты ничего не понял, я тебя полюбила. Ну, говорю, у тебя ведь дела, а там созвонимся.

Поезд уехал. Стало очень тихо и очень пусто. Я куда-то шел. На Пушкинскую, мимо рынка к Владимирскому собору, потом на канал. Потом наступила ночь... Не знаю, нужно ли говорить, что восточная красавица не явилась.

С дороги от Саши приходили sms-ки. «Я еще пахну тобой»; «Утро было хорошим для самоубийства»... Я снова звонил. Я не понимал: если мы друг друга любим, я приеду хоть завтра. Нет. Видеться мы больше не должны. Никогда. И тут же: у тебя красивые глаза. А потом: больше не звони.

То, что она говорила о запахе, я переживал – как я подозреваю – в гораздо более острой форме. Я не мог отделаться от запаха Сашиных волос на моей подушке, овальный кусочек едко-душистого мыла, забытого в ванной, пах ее руками (я никогда не видел таких красивых рук), а выбросить его не было сил. Я выходил в Таврический сад – и откуда-то сбоку, из-за деревьев показывалась ее белая куртка.

Пришло и письмо. Ты не должен был меня отпускать. Я думала, мы с утра помиримся (все утро она продолжала упорно молчать), а



ты выбросил меня как тряпку, вытерев ноги (что за черт! какие ноги? я же не дышал за проклятым шкафом, чтобы она поскорее заснула). Очевидно, что-то здесь было не то, и где-то в прошлом (говорила мама, но я старался об этом не думать) Саша от чего-то лечилась.

Тем временем пришла весна. Цвела черемуха. Стало еще грустнее. Я встречался с друзьями и подругами, летал в Европу и обратно.

Однажды пошел на балет. У принца есть невеста, хорошая, земная девушка, но у него сложные отношения с другим миром, и время от времени ему является Сильфида, воздушная нежить, и тогда он все бросает и бежит в лес ее искать. Кончилось все плохо. Сюжет встревожил меня чем-то смутно знакомым. Была еще возня с ведьминым шарфом, из-за которого героиня стала смертной, но подробностей я не запомнил.

– Вот балбес! Кто ж не знает сюжета «Сильфиды»! - говорила балерина Лика Энигматулина, жившая у подруги этажом ниже и теперь часто ко мне заходившая, что было очень кстати. Но вот действительно ли она являлась мне в тот вечер (ошиблась этажом?) – я спросить стеснялся.

Во многом она была Сашиной противоположностью. Но главное – она всегда приходила с чем-нибудь, с пряниками или игрушкой. Для Саши понятия дать, подарить – просто не существовало. Помню, как мне было неудобно, что у меня именины.

Лика прекрасно соответствовала веками сложившемуся представлению о танцовщицах, легкомысленных и безответственных.

Впрочем, мне кажется, все серьезное уходит у них в невидную людям работу (немного неловко было трогать ее крупные икры, болевшие после репетиции, а стопа была и вовсе какая-то видоизмененная). В отличие от чопорной Саши, Лика любила дурацкие розыгрыши, детские непристойности, казанские словечки, на сумке носила кучу значков с невоспроизводимыми надписями или профилем бедного Пятачка в виде эмблемы Playboy'я. Во всяком случае, с ней было просто.

Другие сравнения тоже были не в пользу Саши. Но случалось, от нее приходили sms-ки: «А ты с кем?», «А о чем вы с ней говорите?», «Думаешь ли обо мне?», «Я скучаю по дружбе» – и над садом собирались тучки, накрапывал дождик и я не знал, зачем я живу.

Были и письма. Встречаюсь то с тем, то с этим. Перспективный молодой человек, и т.п.

Между прочим (оказалось) ухаживать нужно так. Не спрашивать, хочешь ли туда или туда, а говорить: у меня два билета в Консерваторию, а Вагнер там или Брамс – какая разница?





Стояли холода и шел Тристан. Саше нравилось, когда я читал ей Кузмина («а я любила, потому что полюбила»), а я понимал, что она в это время думает не обо мне; а о ком-то прошлом или будущем.

От весны и Вагнера она шалела, сообщала, что я разбудил в ней что-то такое, от чего хочется лезть на стенку или уйти с первым встречным, разумеется, если этот встречный не я, так как мы больше никогда не встретимся.

У меня тоже весна. Я в деревне. В окошке церкви – роща белых-белых берез. Ниже, за холмом, разлилась Ока. А за ней – совсем недалеко – и Москва. Надо к Саше зайти, помочь ей с докладом о романских мотивах у Гогена. Странная тема, какие там мотивы? Ну да ладно, на месте разберемся.

Мама как мышка: воистину воскресе, – и снова в норку.

А мы в Сашиной комнате сочиняем доклад. Выглядит это так. Саша, сидя у меня на коленях, бойко печатает текст, а я ухитрюсь каким-то чужим голосом вносить более или менее умные поправки, одновременно трогая у ней под рубашкой все, что хотелось бы потрогать.

Продолжается это то ли полтора часа, то ли два с половиной (время исчезло), допоздна, до полных сумерек сознания. В целом все напоминает сцену у меня на диване, только положение тел менее удобно и отзывает абсурдом.

Мама за дверью дивилась долгой, деловитой тишине («тихо так сидят, порядливо»), непохожей на шумные, с хохотом посиделки с дурами-подружками. Прервав безумие (мы уже были где-то на ковре), Саша вышла меня проводить немного, простились до завтра.

Шуруп сердится, я обещал прийти гораздо раньше, но я знаю, он добрый.

Утром просыпаюсь, как Адам в первую субботу. Выхожу с телефоном на балкон. Тополя пахнут до одури. Я всю ночь думала и решила: нам лучше больше не встречаться. Ну, это мы уже проходили. И все таки – как же мне теперь, без мечты?

И мы действительно расстались. Снова началась жизнь, с заботами, хлопотами, квартирными вопросами, переводами каких-то книжек.

Раньше я не мог понять, как мне прожить без нее неделю. А вот прошло несколько месяцев – и ничего, не умер, не сошел с ума.

Любопытно, что планируя наши разлуки (тоже занятие!), Саша с каким-то жутким спокойствием оперировала эонами: мы встретимся, нет, ты мне позвонишь – через 2 месяца, нет, через полгода – или: ког-



да мы будем старенькими; или: в другом мире. Наслаждалась, значит, своей властью и моей паникой.

При этом опять рассказывала «обо всем», с кем ходит в театр, о чем реферат, какие у нее красивые и толковые подруги, занялась арабским танцем (не спрашивайте, что это значит), такой-то мил, но юн, а этот еще посмотрим.

Наши же с ней отношения как-то озабоченно старалась перевести в план романтический, вроде того, что мы «настолько близки, что спать вместе было бы преступлением» (логика, на мой взгляд, спорная). Заставила меня прочесть что-то персидское о смерти двух влюбленных, потом Принцессу Грёзу» («пойми, как в скуке жизни повседневной отгадно мне почувствовать себя мечтой поэта, сказочной царевной»); давала понять, что сама не прочь попасть в литературу Сказкой, приснившейся поэту. Вместе с тем ей было немного досадно, что я до сих пор жив.

Колебалась, так сказать, между автором и героем.

Как же в таком случае объяснить ее ревность, которую она и издалека продолжала метать в меня по любому, даже самому «умозрительному» поводу?

Пока я словесно продираюсь сквозь все эти дебри, мне кажется, объяснение – брезжит. Не знаю, что об этом думает медицина, но по-моему, Саше «все это» нужно было для устойчивости. Нормально она чувствовала себя, только живя сразу в двух планах, одна нога там, другая здесь. И когда я исчезал, одна нога повисала без опоры, но стоило мне посягнуть на целое, как висла другая нога и срочно был нужен какой-нибудь молодец с запахом.

Но тогда я не понимал ничего и очень страдал, а главное – не понимал, где у нее «фантазия», а где нет. Говоря с мамой-Верой, я получал сведения самые утешительные. Нося в себе огромный заряд стихийной животности, помноженной на девственность (откровенничала мама), Саша естественно привлекает к себе разных героев разных историй, от физиков-ядерщиков и МИДовских дипломатов до роскошных уголовников, но при попытке, скажем, взять ее за руку впадает в ярость и озадаченный дипломат отваливает. Поэтому правильная стратегия – терпеть и приручать дружбой. Короче, всё – фантазии и глупости и влияние одноклассниц, а внутри она девочка серьезная, и скоро всё у вас будет хорошо.

По поводу последнего выражения вспоминаю забавный случай. Когда мы встретились весной, первый Сашин вопрос был: на чем ты ехал? Я ответил: на поезде (имея в виду: из Петербурга). Она поскучнела и сменила тему.





Дело же было в том, что дня за три до этого они с подружкой отправились в лавру (Саша ездила с кем угодно именно в те места, где я сам хотел бы с ней побывать). В электричке разговорились с гадалкой. Та сообщила много дельного Лене, а Саше сказала следующее: к тебе прилетит братик, и у вас все будет хорошо (Лена удивилась: братьев у тебя вроде бы и нет...).

Из троих не знала ни одна (от Саши я свои планы скрыл), что в тот самый день я вылетел из Берлина в Пулково.

Много еще было всякого.

Я, понятное дело, сокращаю и без того однообразный рассказ, удаляю большие куски, смысл которых – исключительно в их бессмысленных длиннотах.

Саша, забывая, что я в Москве не живу, да и в России наездом, назначала следующий «созвон» через неделю, так как в понедельник она устанет, а со вторника до четверга будет усиленно учиться, а в субботу пойдет на концерт с подружкой, которая, как бы пройдя сквозь весь этот плотный кисель времени, магически превращалась в любезного инженера с хризантемой (преспокойно встречавшей меня на кухне в воскресенье) или в удалого ницшеанца, убежденного, что мужчине «красивая женщина повышает статус».

В результате – бесконечные мои блуждания по большому и, в общем, милому городу, умевшему в такие мартовские или ноябрьские вечера напускать на себя удивительно неприветливый вид.

Шуруп, невольный свидетель моих кругов, острил, что ему они напоминают фильм Бунюэля о неуловимом предмете желания. Всю эту циклическую чертовщину (причины которой, мне кажется, должны быть яснее видны специалистам) Саша приписывала ни в чем неповинному Року. Обычный человек рассудит как: ну разъехались сдуру, чего стоит снова съехаться? Саша же свою придурь называла судьбой и всерьез грозилась изловить и наказать халтурщицу-гадалку.

Вообще же нелепость и, так сказать, беспредметность всей истории настолько бросалась в глаза, что мне и самому случалось задуматься: не держит ли меня за шиворот невидимый кукловод, имеющий какие-то свои планы. Но прозрачные преграды, о которые мы разбиваем нос во сне, становятся видны только по пробуждении, а проспавшись, мы чаще всего сон забываем.

Саша часто ставила мне на вид, что я «совсем не знаю женщин». Не помню точно, что она под этим понимала, но она, кажется, была права (я действительно как-то об этом раньше не думал). Например, она могла сказать о Боннаре: я его одно время любила.

Я вздрагивал: то есть как это – одно время? – забыв, что для нее вся ее «кукольная жизнь» (ее выражение) состоит из «полюбила



– разлюбила». Вообще, заводя с Сашей разговоры о живописи, я становился жертвой избитого самообмана: мне казалось, что в искусствоведы идут люди, способные если не ценить, то хотя бы уважать искусство. Но ничего, кроме «жизни», то есть турманного кувыркания в адреналине эмоций, Саша не признавала и знать не хотела, причем заявляла об этом с непонятными мне раздражением и запальчивостью.

Когда я думал о ней, о нашем все-таки существующем, непонятном и неуловимом, сродстве, мне, особенно вначале, казалось, что ей будут интересны мои наблюдения, мысли, мы поедem с ней в Фонтенбло и во Флоренцию... Но с точки зрения эмоций все эти отвлеченности были куда скучнее ссоры с подружкой или знакомства с настоящим спецназовцем.

«Интересно» со мной ей, пожалуй, было, но ровно столько секунд, сколько длился непосредственный сигнал – раздражитель. Если ей и случалось думать обо мне, то не в связи с последним разговором о Лермонтове (забытым через 2 минуты), а в связи с какими-нибудь процессами, описанными в увлекательной книге о психологии бессознательного.

Неудивительно, что когда она припоминала мне мои слова, получалась дикая отсебятина. Точно так же и она не узнавала себя, когда я развлекал ее рассказами о разных существах, прилетавших на землю, чтобы мучить поэтов: о «Лютике», о Нине Речной, о Любе Щ., случай которой (если я правильно понимаю эти странные вещи) был чем-то очень близок.

– Что за чушь! – обижалась Саша, хотя я (вслух) никаких параллелей не проводил, - я обыкновенная девчонка.

Как сказал бы Андрей Белый, наши миры конгруировали плохо. Попутно заметим, что у мамы-Веры был на Сашу еще один взгляд, третий.

Вообще Саша была подозрительной и мнительной, всегда готовой обидеться, а чувства юмора была лишена совершенно. (Что она при этом вычитывала из Флобера или Пруста – боюсь, так и останется загадкой).

Собственная же ее веселость выражалась подчас довольно громоздко. Однажды вечером я позвонил из Берлина и услышал: «Мне не хватает мужчины, я буду с тобой флиртовать. Представь хорошенько. Я сейчас в ванне. Теперь встаю...беру полотенце...какой ты скучный!»

Мы еще вернемся к теме телефонных резвостей, а пока запомним эту симпатичную Анадиомену. Впрочем, тяжелой была не только веселость. Как-то я в сердцах сравнил ее душевные движения с передвижением комода с посудой, которая при этом сыпется с полок и бьется. Саша обиделась смертельно. Мама, узнав, хихикала.



Странное дело: чем больше Саша прочитывала настоящих, хороших книг, тем она становилась самоувереннее, черствее, и – увы – глупее. Увидев стихотворение «На кресле отвалиясь, гляжу на потолок», она (не зная, что стихам сто двадцать лет) высказалась так: модная мишура с претензиями; цель гения – простота.

В «мужчине» (словом этим Саша злоупотребляла) она ценила не мысль, а «поступок». Поэтому, в конце концов, любое стихотворение было для нее – как тень, бегущая от дыма, но стоило, скажем, «красиво» уйти, взмахнув Гарольдовым плащом – и Саша немедленно начинала томиться и слать покаянные sms-ки.

Говорить о грустном (все равно, о бессоннице или Моцартовом реквиеме) или грустить в ее присутствии – не полагалось. На жаргоне подружек это называлось «сливать негатив». Хороший человек должен быть бодр и ясен, чтобы нести радость.

Собственное же ее настроение, как вы уже заметили, бывало очень переменчиво, и в зависимости от него собеседнику доставалось внимание или равнодушие; в смысл слов она все равно не вникала, полагаясь, как дельфины, больше на голосовые вибрации: любит – не любит – и как себя вести в зависимости от этого.

Конечно, когда случалось хорошее настроение, «общаться» с ней (как она выражалась) было одно удовольствие. При плохом же всё растворялось в небесном безразличии; так я по какому-то вопросу предложил ей заглянуть в Розанова, но на следующий день премудрая преподавательница назвала Розанова идиотом, и этого оказалось достаточно, чтобы больше к нему не возвращаться.

Ввиду своей одинаковости случаи путаются, уже не знаешь, куда поместить тот или этот эпизод.

Неделя томительного, как сердечная боль, хождения по берегу реки, по Сретенке, мимо постылого Кремля, по каким-то бульварным кольцам, и конец всех путей, проклятое Лианозово (ага: весна! – серое небо, бледная зелень, зяблики).

Гуляю день, два, три. Саше все некогда. Наконец, догулял до урочного дня. Звонить пока нельзя: лекция. Шлю веселую sms-ку: хочешь, подъеду прямо к институту? – и получаю неожиданно грубый ответ: никуда ехать не надо, сегодня у меня другие планы, и чтоб без сюрпризов! (например, засада у метро?)...Какие уж после этого сюрпризы! Звоню ее маме: книжку чужую оставил у вас. Заезжай, забирай.

Вечером sms-ка: зачем ты уехал? прости. я свинья. мне так плохо, и пр. Я благодарно промолчал.



На поезд билета у меня не было. К тому же завтра в музее бесплатный день. Договаривались пойти вместе, ну да ладно, пойду один.

Захожу в музей. В голове плавает осадок от бессонницы. И сквозь эту муть – всё: гардероб, фойе, панно Боннара, лебединые жёсты какой-то восторженной девицы. Какие знакомые руки: вот так и Саша могла бы жестиковать перед картиной, объясняя ее красоты какой-нибудь дурочке помладше. А ведь так и есть: Саша, а с ней – милашка с глазёнками. Сталкиваемся, как в водевиле. Взгляд – испепеляющий. Все давеча набранные очки я в момент растерял, провалив решающий tie-break. Пришлось знакомить меня с Леной, очаровательным, юным (впрочем, уже замужним) и вполне безмозглым созданием.

Я разрезвился (все равно погибать) и стал подслушивать Сашины разъяснения. Саша, собиравшаяся было блеснуть, не скрывала досады, и минут через пять велела мне рассказывать самому. Я разрезвился еще пуще и начал обзывать Гойю дутой величиной, всплывшей на волне интереса XX века к патологиям, сравнивать Дега и Сезаннов с Эрмитажными и Орсейскими. К нам стали подтягиваться любители, соглашаться, возражать.

Становилось совсем весело. Главная же моя аудитория камелена, только один раз Лена (из вежливости?) пискнула, зачем-де я так категоричен.

Кроме вежливости бедняжкам ничего и не оставалось, все равно им в общем было и непонятно, и безразлично, чем же так хорош восхитительный (и восхитительно простой) этюд Писсарро, и приходилось заниматься самым бесплодным на свете делом: объяснить, почему хорошее хорошо (например: посмотрите, как выверенно соотношение коричневой трапеции пашни и серой – неба).

Провожал я Сашу в молчании и грохоте метро (Лена давно сбегала), а на следующий день из Москвы уехал, оставив Сашу в уверенности, что я ее все-таки выследил и подстерег (сидел, должно быть, с перископом в кустах на углу бульвара и Волхонки).

Но так живуч во мне был миф о нашей родственности, что я обо всем забывал, слыша издали звук ее телефонного голоса. Выражаясь по старинке, я не мог без него жить, я засыхал, будто сякла какая-то влага, о природе которой задумываться не хотелось.

На каком-то подводном уровне, сна во сне или анаморфического выпрямления искажения, между нами была подлинно родственная связь, одинаковость неких потайных винтиков, которая в этом, дневном море «реальности» тонула, но иногда проблескивала: если я после долгого перерыва звонил, оказывалось, что перед этим она надевала





подаренное мной колечко с аметистом, а о том, что я приехал, она знала, увидев меня накануне во сне, то есть было несколько таких странных, или, как она шутила, «пара нормальных» совпадений.

Переписка через какое-то время снова стала дружеской. И вот я снова в Москве (с кем-то нужно повидаться, что-то получить...). Только сейчас я, кажется, понял, как плохо мне было без Саши. Я решил про себя: теперь ни за что не поддамся безумию, буду ровен, весел и приятен. Будем дружить, болтать, смотреть красивые картинки. Ведь мне ничего больше не нужно.

Главное – не ссориться. Раньше ужас наступал после каких-нибудь касаний, значит – никаких касаний.

Кто это говорил про стих «на свете счастья нет, а есть покой и воля»: а что же такое счастье, как не покой и воля? Я наполнялся тишиной и тихо ее в себе носил.

Я уже рассказал, как я приземлился, добрался до Домодедовской, подключил телефон, поехал на Арбат, из-под земли вышел под дождь и пошел в сторону Филей.

Все прежние встречи были в какой-то грозе и буре. Теперь – тишина и счастье. Спокойное и уверенное. Что может мне помешать? Кто его у меня отнимет, если она сама сказала: «приходи завтра»?

Нельзя сказать, чтобы «назавтра» все было совсем гладко. Была какая-то натянутость, что-то в Саше изменилось, что-то напоминало мне первое мое посещение. Потом Саше стало весело, она уложила меня с собой рядышком, сунула мне в ухо один из наушников player'a и заставила меня выслушать дикую песню какой-то популярной среди подружек певицы, имени которой я не запомнил, да и не назвал бы из суеверной брезгливости. В одном я уверен: песня про Little Carmen была лучше.

Но все равно. Это было оно. Счастье и покой. Встретиться договорились в центре, куда-нибудь, что называется, пойти.

Когда я проснулся, за окном было солнечно и ветрено, с неба удирал арьберггард позавчерашних туч. Было так покойно, что я даже звонить не спешил. Потом – родной, хороший голос. Ты не звонил, я пошла с Леной по магазинам. Давай через пару часов?

Мое счастье.

Что я делал эти два часа? Ничего. (Где уже было такое?) Может быть, пил чай. Звонит телефон. Интересно. Номер незнакомый. А голос Сашин. Я должна тебе сказать. Я сейчас у одного человека. Он сказал, чтобы я тебе позвонила. Я его люблю. Ты? Ну, ты совсем другое. Он не выдумывает «дружбы», а берет девушку за руку и спрашивает:





хочешь? Может быть, я поступила нехорошо, но я тебе ничего не обещала, а ты ни о чем не спрашивал.

Думаю, здесь пора поставить точку (проснуться, скорей проснуться! – вопил неспящий уголок воли). Нет. Еще два слова.

Мне пришлось в который раз, как Фебу, проделать все тот же путь мимо знакомых наизусть павильончика «Евросеть» и цветочного ларька, чтобы забрать на этот раз Оссиана, с которым было жаль расставаться и которого, несмотря ни на что, я снова с идиотской беззаботностью оставил. Маме я старался ничего не говорить, она сама все увидела и принялась утешать с московской сердобольностью. Не может быть, что она у него, она же ушла с Леной, она мне все рассказывает, они с ним просто знакомые...

Я вернулся к метро и зачем-то почти час стоял на станции, надеясь хотя бы издали увидеть Сашу (только издали!). Обычно она в это время давно дома, уже первый час. Ни в одном из поездов Саши не было. Наверно, разминулись.

Слишком связно для сна, слишком несвязно для не-сна, - сказал кто-то внутри меня, как это иногда бывает при пробуждении. Днем я никогда не сплю, а тут задремал на хвое под пинией. Прямо надо мной на длинной тяжелой ветке попискивала маленькая малиновка. Рядом шумно шуршала своими вайями растолстевшая, одичавшая пальма. Все было как обычно. Только залив из алмазного стал лиловатым, и с гор на небо выползли облака.

Во сне времени нет. Год прошел или десять минут?
Щека была влажной. Я знал настоящее счастье.

.....

Заключение.

Ключ, реприза? Или катавасия, где дружно сходятся линии, чтобы пропеть основную тему.

Золушка вернулась домой, то есть, я. В Москве я бывал иногда по делам. Теперь у нее появилось новое качество. Теперь это была Москва без Саши. А примерно через год после моего сна я получил e-mail, так, ничего особенного, привет... Чувство было нехорошее и знакомое, сладковато-насильственное, вроде погружения в общий наркоз. Все начиналось заново. Я презрительно констатировал безудержное сердцебиение, «входя в почту».

Неужели это – навсегда? И что – «это»? Как его назвать?...

И что мне до нее? Чуждая неизвестная мне жизнь, в которую



меня толком не впускали дальше вешалки, со своими горестями и увлечениями разной степени сложности.

Главное, было неясно, что с этим делать. Я мог подарить ей себя, но она такого подарка не заметит. Зато я с ужасом отмечал, что весь мой день зависит от того, получу ли я (какие-то обидно короткие, на пороге простой вежливости): «да», «не согласна», «давай» (т.е. валий, высылай свои рассуждения о прототипах Эльстира). Я уговаривал себя: ну, был сон, ну яркий, но стоит ли персонаж сна, даже цветного, того, чтобы так его выхаживать?

Но голос разума помогал слабо. Раз сон, то какой с него спрос? Покуда снится, снись... А слышать в телефонной трубке этот голос... Саша, правда, разговаривать долго не могла, приближались то ли экзамены, то ли что-то курсовое. Но все это было не важно, важно – настроение; их я изучил так, что по первой ноте или по первому слову в письме, я уже знал о ее состоянии, и рада ли она мне.

К грозным признакам относились: орфографическая неряшливость и восклицания на тему: как прекрасна жизнь. (Обычно это «шло вместе».)

И, как-то, в ответ на такой письменный вскрик (а разговор был о детстве и радости), я по глупости вспомнил рассказ одного знаменитого ученого, как его мучали в школе (в послевоенной Москве), а закончил я так: с известной точки зрения жизнь – сон, и чаще всего – кошмарный, и жить вообще бы не стоило, если бы тело не было нам нужно, чтобы написать или прочитать книжку.

О том, что юмора Саша лишена, я уже говорил, и теперь, не без трепета, я стал ждать ответа на свои шутки.

Ответа долго не было, видно, очень была занята, и я решил позвонить.

Очень дружелюбно, моим любимым голосом, Саша попросила перезвонить чуть позже, сейчас у нее важный разговор по мобильному. Позвонил я минут через двадцать. Связь была не очень-то, даже гудков я не услышал, а сразу – торопливый говорок, но как бы в сторону, когда рука уже снимает трубку, но еще заканчиваешь фразу, обращенную к другому. Я терпеливо ждал конца беседы с неизвестным (я с удивлением слышал урчание низких частот на заднем плане), но отвечать мне не спешили. Вместо этого приглушенная речь начала превращаться в тихое постаныванье, которое я в первые секунды принял за плач.

Единственным спасением была мысль, что ошибся, что попал на немецкий номер или радио, тем более, что ритмичное (и непристойно громкое) кряхтение самца – в нерусском басовом регистре – звучало иностранновато, что-то вроде «oh,уeah» на два счета.



Еще минуты две или три я вслушивался в нарастающий ужас, тщетно пытаюсь разобрать какие-нибудь слова. Нет. Конечно, ошибка. Я несколько раз повторял звонок чтобы (про себя, естественно) посмеяться недоразумению. Домашний не отвечал, а мобильный был занят. В ватном тумане мелькали мысли: успел ли я что-то сказать? Не услышал ли я сквозь вздохи какую-то будничную жалобу на неудобное положение ноги? Как я мог ошибиться, сотни раз звонил и не ошибался? Как все же груб и изящен этот *сoup de grace*!

Когда еще через полчаса Саша наконец ответила, я так растерялся, что не знал, что сказать; она тоже не говорила ничего и выходило глупо. Я смог спросить только, как у нее дела, и ее голос словно плыл издалека, откуда она медленно приходила в себя, протяжное, сладкое «да», «хорошо», с невозможными паузами. Потом голос выровнялся, спросила, я ли это всё звонил, ведь сказала же, что занята, обсуждала по мобильному курсовую, тема сложная и т.д.

Я спросил, далеко ли мама, она сказала: сейчас позову, я сказал: не надо. Я спросил, пьет ли она теперь вино, она ответила: на день рожденья; потом ни к селу ни к городу добавила, что «общаться» со мной всегда было трудно и лучше бы я больше не звонил. Лучше пиши. Потом подумала и еще добавила: нет, и писать не надо.

И снова оказалась права. Как сказано в одной мудрой книжке: всё было в сущности уже дописано.



Мария Серова *Москва*

Кирпичики

Наконец баба Шура решила на большое дело. Поднакопила денюжат с пенсии и купила двести десять штук кирпичей. Почему ровно двести десять? Да потому что как раз столько, по её расчётам, ей и было нужно, чтобы заложить широкую трещину в стенке дома и сделать укрепление этой самой стены, которая с каждым новым дождем отходила в сторону всё большее и больше. Конечно, хорошо бы не только одну стенку, а весь дом обложить кирпичом, да только откуда же у старушки возьмутся такие деньги? Вон весь и доход-то: пенсия да огород. А вот стенку-то надо бы обязательно подремонтировать, иначе,



не равён час, весь дом развалиться может.

Сосед Гришка обещал бабе Шуре исполнить всю работу наилучшим образом. Сошлись они и в цене: пятьсот рублей на руки наличными и две бутылки самогонки, которые баба Шура должна была выменять за картошку у его же собственной жены Клавдии. Конечно, человеку несведущему может показаться несколько странной затея Гришки с обменом, но только не Гришке. Какая же она странная, если Клавдия никогда сама не даст ему ни стаканчика, а тем более бутылку, все продаст. А заполучить зелье путем кражи Гришка тоже не может, поскольку на кладовку, где хранится самогонка, повешен сложный замок с кодом! Код не поддается никакой Гришкиной расшифровке, и не дай Бог этот замок сломать! Вот такая незадача. Да и бабе Шуре самогон незачем покупать – денег нет на него лишних. Другое дело обменять на картошку, вон, сколько её накопала прошлой осенью. Вот вроде бы всё и складывается ладно, чин по чину.

Кирпичи они с Гришкой пока что уложили штабелем, аккуратно по двадцать пять штук в каждом слое. Получилось в штабеле ровно восемь рядов и ещё сверху отдельно уместили десять кирпичей. Накрыли сверху от дождя все это хозяйство целлофаном, поверх него для надежности бросили старую телогрейку и разошлись по домам до тепла.

Тепло наступило быстро, за огородными делами и не успели даже оглянуться. Май выдался необыкновенно жарким с кратковременными ливневыми дождями и грозами. Сады все прямо утопали в цвету. Выйдешь за калитку, и будто туман нежный, белорозовый покрывает всю землю. А в этом тумане яркие кружевные пятна сирени. Красота...

За маем уж и июнь наступил. Кусты и деревья покрылись густой зеленой листвой, травы сочные, мощные вымахали. Пора было уж и за дело договоренное приниматься. Да и Гришка уже ни один раз, наведываясь, заговаривал о строительстве. Понятное дело, у него тоже свой интерес был. Картошку Клавдия давно взяла, ещё на посадку, и самогон принесла, ни о чем не догадываясь. Самогон, правда, хороший у неё. Чиркнешь спичку, он вспыхнет и горит потом голубовато синим пламенем – крепкий, Гришка доволен будет. Пятьсот рублей тоже уже припасла, лежат они в ящике старого комода. Правда, пятидесятирублёвками, но это даже и хорошо. Будет Гришка аванс просить, а она ему не сотенку, а пятьдесятку даст, так-то лучше.

В тот день баба Шура проснулась с петухами. Как же, до прихода Гришки надо же и ведра приготовить, и мастерок ещё отыскать в сарае, лопату достать, да и с кирпичей всё барахло сверху снимать. Взялась она за верёвку, которой они перевязали еще ранней весной всё покрытие, думала, ещё резать её придётся, а она сама-то и свалилась на землю. Что такое? Сгнила верёвка что ли, – подумала баба Шура, – вроде крепкую Гришка тогда приносил. Стала снимать целлофан, а он



уж открыт наполовину и завёрнут.

Батюшки!.. Так и села на месте баба Шура, а кирпичей-то, которые десять сверху лежали, и нет... Мало того, уж верхний кирпичный квадрат и не квадрат вовсе – от двадцати пяти-то только пять штук и осталось. Как же так?! Испугалась баба Шура, подумав сразу о трещине в стене, как же теперь?..

Гришка так и застал её, сидящей на перевернутом ведре рядом с раскрытыми кирпичами.

Он долго возмущался возникшим обстоятельством, презрительно морщился и бил себя в грудь, утверждая, что, конечно, это не его рук дело, и божился. А потом обещал отдать ей бесплатно свои старые кирпичи, оставшиеся от так и недостроенной им бани.

Бабу Шуру знали и уважали не только все соседи, но и вся деревня. Ни проходило и дня, чтобы кто-нибудь к ней не наведалься. Кому-то рассады даст, кому мучицы, соли. Ей тоже несли гостинцы – то пирогов, то ранней капусты, а то вот и коты притащили прошлым летом. Жили соседи дружно, не может быть, чтобы кто из них украл. Опрашивать их и искать вора и пропавшие кирпичи она наотрез отказалась и затосковала. Гришку просила никому ничего не говорить про кражу, всё содержать в тайне, никого понапрасну не обвинять и не беспокоить. Строительство решили временно заморозить, отложить до августа, а к тому времени подкупить украденные кирпичи.

Но внутри, на душе, все-таки оставался неприятный осадок, как-то тошно было, будто червь какой сосёт, и сердце теребило, не давало покою. Кто же из деревни мог сподобиться на кражу?

До вечера они с Гришкой стойко держали обет молчания - об этой краже не говорили совсем, будто бы её и вовсе не было. Но вечером Гришка не выдержал внутреннего напряжения и предложил проверить интересное дельце – провести, так сказать, засаду на вора, поймать вора, как говорится, с поличным. Кстати, и заросшие высоким бурьяном кусты прямо напротив кирпичей могли бы стать местом их засады. Так и договорились. Гришка будет дежурить ночью, а баба Шура днем в укрытие спрячется.

Ночь прошла спокойно. Вор не приходил. Кирпичи все были на месте.

Утром Гришка всё так и доложил бабе Шуре. Теперь настал её черед караулить.

Только она поставила скамеечку за кустами, как что-то вдруг будто бухнуло у забора, где кирпичи лежали. Смотрит, а чья-то рука за кирпичом тянется. Баба Шура так и застыла на месте, прямо остолбенела от неожиданности. Страсть какая! От стресса никак понять не может, кто же это? Видно, что женщина с сумкой, но кто такая?

А рука уже и за вторым кирпичом тянется. Женщина, точно женщина! Она, это она взяла два кирпича и положила их в свою сумку. Батюшки! Так и всплеснула руками баба Шура, да неужто это Пав-





лина!? Пашка и есть! Смотрит, а Павлина уже направляется от забора к дороге и уходит. Сама не поняла как, вскочила баба Шура и в обход, через огород, да навстречу Павлине-то и выбежала.

Павлина увидела бабу Шуру и сделалась вся бледная.

– Здравствуй, Павлина! – говорит баба Шура, – что несёшь? Никак мои кирпичи?

Павлина так и присела. Глаза вытаращила, потом дрожащими руками прижала к себе сумку, стараясь что-то прикрыть, спрятать получше. Лицо её стало ещё больше бледнеть и сделалось, наконец, зеленовато-мертвенным. Павлина еле выдавила из себя:

– Шура...это ты, откуда?

– Я, Павлина, я. Кирпичики-то зачем взяла?

– Шура, да я два всего-то и взяла. Мне в духовку печную положить надобно, горят пирожки...

– Пирожки, говоришь, горят, что ж, попросила бы, я тебе сама дала бы для духовки-то.

Нет, Пашка, не для духовки ты крадешь кирпичи. Два говоришь? Нет, не два. Их там уж десятка три не хватает!

Павлина отвела глаза в сторону и пробурчала:

– Пряма уж...десятка три...

– Как же так, Паша, ты ведь в церковь ходишь каждый день, в хоре церковном поешь...

И воруешь, зачем? Что ж, это ты, значит, идешь с утренней из церкви мимо нас, по нашей улице и берешь два кирпича в сумку, потом идешь с вечерней, тоже два берешь...

Зачем они тебе эти кирпичи, Паша?..

Павлина опустила глаза, и лицо её стало медленно сначала розоветь, а потом превратилось в багрово-красное сплошное пятно. Глаза наполнились слезами, губы задрожали, и она запричитала:

– Шура, Шура, прости, бес попутал, бес попутал...

На, вот, возьми их обратно...

С этими словами она выхватила злосчастные кирпичи из сумки и протянула их бабе Шуре.

– Не возьму, Паша...я не буду у тебя их отнимать.

– Тогда я их выброшу! – Срывающимся голосом закричала Павлина.

– К чему выбрасывать добро, раз взяла, неси домой, Паша. Но больше не воровай.



Баба Шура повернулась спиной и пошла домой по дороге. Вор был пойман, но на душе, будто камень какой-то положили.

Гришка долго ругался. Особенно его возмутила схема воровства кирпичей.

– Это надо же, шумел он, – из церкви ведь идет, а чужое прихватывает по пути...

Грозился сбегать на Бульварную улицу поскандальить, но баба Шура была против. Потом решили с ним про Павлину никому не рассказывать, Бог с ней, с Павлиной.

Она и сама перестала ходить по их улице, в церковь добиралась обходными путями. Соседи, привыкшие видеть её каждое утро и вечер, удивлялись, что с ней могло произойти. Сидя на лавочке, судачили про нее, опасаясь, не заболела ли?

Вся бы эта история с кирпичами так бы и забылась потихонечку, если бы не тот четверг. Прошло уж, пожалуй, две недели с того дня, когда была поймана Павлина с поличным. А тут вбегает на порог Гришка, возбужденный, с такими огромными глазами, будто происходит вокруг что-то необыкновенное, доселе им невиданное. И прямо с порога кричит бабе Шуре, размахивая своими длинными жилистыми руками:

– Скорее, скорее пойдем к забору! Твои кирпичи размножаться стали!

– Как размножаться? – испугалась баба Шура, не понимая смысла его слов, но, уже предчувствуя что-то неладное, а её сердце даже как-то екнуло, и всё тело потянуло вниз, к земле. Опять кирпичи, будь они неладны...уж и зачем только я их и купила ...

Насторожило её немного лишь то обстоятельство, что от Гришки пахло Клавкиной самогонкой. Неужели, – подумала она, – спяна чего наговаривает или показалось ему что?

А Гришка уже стоял у забора и тыкал пальцем в кирпичи. Их было снова ровно восемь полных рядов и сверху лежало ещё восемь штук кирпичей...

Что ощутила баба Шура в тот момент, она и сама не знает, а вот подумать подумалось:

«Значит, раскаялась Павлина, все-таки, раскаялась...

А те два кирпича, видно, найти не может, забыла, куда выбросила...»



Грот

публикации



Сергей Черняев

3

Сергей Черняев

Харьков

НА ПОРОГЕ СЕРДЦА

(Из неопубликованной книги «Корни радуги», 2000 г.)

Сергей Петрович Черняев родился 28 февраля 1970 г. в с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области. Стихи писал с 12 лет на русском и украинском языках. Занимался спортом, стал кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. В 1993 г. окончил филологический факультет Харьковского госуниверситета. Учился в аспирантуре. В 1996 г защитил кандидатскую диссертацию по философии «Идеи дзен-буддизма в творчестве Дж. Д. Сэллинджера (философский аспект анализа)». С 1997 г. преподавал философию и культурологию на кафедре социально-экономических и гуманитарных дисциплин Харьковского военного института офицеров внутренних войск МВД Украины. Был убит 1 мая 2002 г.

При жизни поэта стихи печатались в «Антологии современной русской поэзии Украины» (Харьков, 1998. Т.1.), в книге «Слобожанська муза. Антологія любовної лірики XVII-XX століть» (Харків, 2000), а также в немногочисленных журналах, альманахах и газетах. Поэт увидел изданной только одну свою книгу стихов и переводов – «Терези тиші». (Харків: Майдан, 1996, – 62 с), по которой и был принят в Национальный союз писателей Украины. Был членом Правления Харьковского отделения СПУ.

Посмертно вышли книги:

Янгол з безодні: [Поезії] / Передмова І. Перепеляка. – Харків.: Майдан, 2004. – 148 с.

Вибране /Упоряд., підготовка тексту, передмова М. Красикова. – К.: Факт, 2005. – 172 с. – (Сер. «Зона Овідія»).

Зеленое солнце: стихи / предисл., сост. и подгот. текста М.М.Красикова. – Харьков: Эксклюзив, 2009. – 96 с.

Фрагменты из обширного поэтического наследия С. Черняева печатались в книгах: «Слобожанська яса: Антологія громадянської лірики кінця XVII – початку XXI століття». (Харків, 2006); «Украина. Русская поэзия. XX век. Антология. (Киев, 2008); журналах «Березіль» (Харків, 2004, № 3–4), «Дикое поле» (Донецк, 2007/2008, № 11), «Лава: журнал поезии» (Харьков, 2010, [№1], 2011 [№3]), «Sub Rosa». Дивный журнал идей (Киев – Елизаветград, 2010, №2)





и альманахах «Каштановый дом» (Киев, 2008, вып. 4; 2009, вып.5),
«Левада: Молодіжний літературно-художній альманах»
(Харків, 2009, вип.8), «Семейка» (Вупперталь, Германия, 2011)
и ряде других изданий.

ОАЗИС СЛОВА

Ты – беглое солнце пустыни
Едва осеняя пески
Над грешными и святыми
Стрелюю летишь в запуски

Душа моя – бурь и барханов
Слепой одногорбый верблюду
Дремлет срьель звезд отчеканив
Надмирное слово «люблю»

МИРАЖИ ЛЮБВИ

Казалось – ангел солнечным перстом
Твой образ начертал на зыбкой тверди
И в мире громогласном и пустом
Любовь сразила легионы смерти


Мираж растаял в собственной тщете
Душа от горьких правд осиротела
Любовь несут пороки на щите
И смерть свою танцует тарантеллу

ГОРОД СНОВ

Дом мой стоит
На кромке моря и суши
В городе снов
Который ваяют ветра
Прочь изгоняя святош
А грешников души
Вместе с ангельской свитой
Возносят в рай

Дом мой и штителями
И штормами обласкан
Он словно бриг
Уплывает в вечный рассвет





Не по волнам скользят
А по песням и сказкам
В которых о нас с тобою
Ни слова нет

ЭЛЕГИЯ ГУСИНОГО ПЕРА

В пальцы мне ветер вложит
Нездешних гусей перо
И на тоску помножит
Тяжкое бремя рифм
А муза сидит в засаде
Журясь как снайпер хитро
На солнце и тужась исчислить
Дней моих логарифм

В уме блуждают цитаты
С грацией крупных рыб
Душа торопясь на нерест
Попала в небесную сеть
Поэзия – вид диалога
С Богом но если охрип
Слушай шарманку ветра
Дай безголосым петь

Ангелам и херувимам –
Добрым соседям твоим
Летающим как махаоны
На пламя нужды и беды
Одень же свой лунный подрясник
Вечный расстрига и мим
И царствуй сидя на троне
Крапивы и резеды

МЛЕЧНЫЙ ПСАЛОМ

Крыши словно святоши
Перстами громоотводов
Крестясь на икону луны
С себя непосильною ношей
Сбросят дурман несвободы
Веригами ставшие сны
Которыми ты одарила
Душу – мятежную птицу





К тебе залетевшую в сад
Медное паникадило
Необозримой зарницы
Плывет над капеллой цикад

Тополь под бременем дрогнет
Но скорбь одинокой звездой
Как маг вознесет в небеса
И пусть между нами дорог нет –
Летят над млечной водою
Грезы-ветра-голоса

АКВАРЕЛЬ

Ветер надувая паруса листвы
С якорей сорвет шаланды тополей
Полночь как трактирщица после чаевых
Не вина нальет нам а луны елей

Рыбьей чешуёю выпадет роса
На цветов поникших луговую зыбь
И растают в небе наши голоса
Раненые дерзким гарпуном грозы

НА ПОРОГЕ СЕРДЦА

Пусть ночь раскинет звездное Таро
Пусть в пламени свечи воскреснут тени –
Избегнет сердце всех хитросплетений
Пока не осквернит страстей тавро

Его покой но если всем ветрам
Сует мирских оно откроет двери –
В него войдут безумье и безверье
И станет лобным местом бывший храм

Биографическая справка, подготовка текста и публикация Михаила Красикова.





МОСТИК

переводы



Александр Медяник

3



ПЕРЕВОДЫ

Александр Медяник

Харьков – Веспрем

Чеслав Милош (Czesław Miłosz; 1911 – 2004)

(перевод с польского)

Сезон

В развесистой тишине моего любимого месяца
Октября (румянец кленов, бронза дубов,
тут и там светло-желтая листва на березах)
Я, словно маг, расколдовывал время.

Необозримая страна умерших начиналась всюду:
За поворотом аллеи, за газонами парков, –
Неприглашенный, я не дерзал туда входить.

Вытащенные на берег лодки, дорожки под хвоей,
Река, что течёт во тьме, – ни огонька по ту сторону.

Я собирался на бал колдунов и духов,
На котором появляются незнакомцы в масках
И танцуют, неузнанные, вместе с живыми.

Адам Загаевский (Adam Zagajewski; 1945)

(перевод с польского)

Jechać do Lwowa

Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać
do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świetle,
gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się
ekspresy i torpedy. Nagle wyjechać do
Lwowa, w środku nocy, w dzień, we wrześniu
lub w marcu. Jeżeli Lwów istnieje, pod
pokrowcami granic i nie tylko w moim
nowym paszporcie, jeżeli proporce drzew
jesiony i topole wciąż oddychają głośno
jak Indianie a strumienie bełkocą w swoim
ciemnym esperanto a zaskrońce jak miękki





znak w języku rosyjskim znikają wśród
traw. Spakować się i wyjechać, zupełnie
bez pożegnań, w południe, zniknąć
tak jak mdlały panny. I łopiany, zielona
armia łopianów, a pod nimi, pod parasolami
weneckiej kawiarni, ślimaki rozmawiają
o wieczności. Lecz katedra wznosi się,
pamiętasz, tak pionowo, tak pionowo
jak niedziela i serwetki białe i wiadro
pełne malin stojące na podłodze i moje
pragnienie, którego jeszcze nie było,
tylko ogrody chwasty i bursztyn
czereśni i Fredro nieprzyzwoity.
Zawsze było za dużo Lwowa, nikt nie umiał
zrozumieć wszystkich dzielnic, usłyszeć
szeptu każdego kamienia, spalonego przez
słońce, cerkiew w nocy milczała zupełnie
inaczej niż katedra, Jezuici chrzcili
rośliny, liść po liściu, lecz one rosły,
rosły bez pamięci, a radość kryła się
wszędzie, w korytarzach i młynkach do
kawy, które obracały się same, w niebieskich
imbrykach i w krochmalu, który był pierwszym
formalistą, w kroplach deszczu i w kolcach
róż. Pod oknem żółkły zamrożone forsycje.
Dzwony biły i drżało powietrze, kornety
zakonnice jak szkunery płynęły pod
teatrem, światła było tak wiele, że musiał
bisować nieskończoną ilość razy,
publiczność szalała i nie chciała
opuszczać sali. Moje ciotki jeszcze
nie wiedziały, że je kiedyś wskrzeszę
i żyły tak ufnie i tak pojedynczo,
służące biegły po świeżą śmietanę,
czyste i wyprasowane, w domach trochę
złości i wielka nadzieja. Brzozowski
przyjechał na wykłady jeden z moich
wujów pisał poemat pod tytułem Czemu,
ofiarowany wszechmogącemu i było za dużo
Lwowa, nie mieścił się w naczyniu,
rozsadzał szklanki, wylewał się ze
stawów, jezior, dymił ze wszystkich
kominów, zamieniał się w ogień i w burzę,
śmiał się błyskawicami, pokorniał,
wracał do domu, czytał Nowy Testament,
spał na tapczanie pod huculskim kilimem,





było za dużo Lwowa a teraz nie ma
go wcale, rósł niepowstrzymanie a nożyce
ciepły, zimni ogrodnicy jak zawsze
w maju bez litości bez miłości
ach poczekajcie aż przyjdzie ciepły
czerwiec i miękkie paprocie, bezkresne
pole lata czyli rzeczywistości.
Lecz nożyce ciepły, wzdłuż linii i poprzez
włókna, krawcy, ogrodnicy i cenzorzy
cięli ciało i wieńce, sekatory niezmordowanie
pracowały, jak w dziecinnej wycinance
gdzie trzeba wystrzyc łabędzia lub sarnę.
Nożyczki, scyzoryki i żyletki drapały
ciepły i skracaly pulchne sukienki
prałatów i placów i kamienic, drzewa
padały bezgłośnie jak w dżungli
i katedra drżała i żegnano się o poranku
bez chustek i bez łez, takie suche
wargi, nigdy cię nie zobaczę, tyle śmierci
czeka na ciebie, dlaczego każde miasto
musi stać się Jerozolimą i każdy
człowiek Żydem i teraz tylko w pośpiechu
pakować się, zawsze, codziennie
i jechać bez tchu, jechać do Lwowa, przecież
istnieje, spokojny i czysty jak
brzoskwinia. Lwów jest wszędzie.

Ехать во Львов

Ехать во Львов. С какого перрона ехать
во Львов, если не во сне, на рассвете,
когда роса на чемоданах и собственно рождаются
экспрессы и торпеды. Вдруг выехать во
Львов, посреди ночи, днем, в сентябре
или в марте. Если Львов существует, под
покровом границ, и не только в моём
новом паспорте, если пропорции деревьев,
ясени и тополя, всё ещё дышат громко,
как индейцы, а ручки лепечут своим
тёмным эсперанто, а ужи, как знак
мягкий в русском языке, исчезают посреди
трав. Упаковаться и выехать, вообще
без прощаний, в полдень, исчезнуть
так, как теряют сознание панни. И лопухи, зеленая
армия лопухов, а под ними, под зонтами
венцианской кофейни, слизняки беседуют





о вечности. Только кафедра возносится,
помнишь, так вертикально, так вертикально,
как воскресенье и салфетки белые и ведро
полное малины, стоящее на полу и моё
стремление, которого ещё не было,
только сады хвощи и янтарь
черешни и Фредро непристойный.
Было всегда слишком много Львова, никто не мог
понять всех районов, услышать
шёпот каждого камня, спаленного
солнцем, церковь ночью молчала совсем
иначе чем кафедра, иезуиты крестили
растения, листок за листком, а они росли,
росли без памяти, а радость скрывалась
езде, в коридорах и кофейных мельницах,
что сами вращались, в голубых
заварниках и в крахмале, который был первым
формалистом, в каплях дождя и в шипах
роз. Под окном желтел замёрзший первоцвет.
Колокола били и дрожал воздух, корнеты
монахинь, как шхуны плыли под
театром, света было так много, что он вынужден
был бесноваться бесконечно,
публика неистовствовала и отказывалась
покинуть зал. Мои тети ещё
не знали, что их когда-нибудь воскрешу,
и жили так доверчиво и так одиноко,
слуги бежали за свежей сметаной,
чистые и выглаженные, в домах немножко
злости и большая надежда. Бжозовский
приехал на лекции, один из моих
дядек писал поэму под названием «Почему»,
посвящённую Всемогущему, и было слишком много
Львова, он не помещался в посуде,
разрывал стаканы, выливался из
прудов, озер, дымил всеми
каминами, превращался в огонь и бурю,
смеялся молниями, усмирялся,
возвращался домой, читал Новый Завет,
спал на топчане под гуцульским ковром,
было слишком много Львова, а теперь нет
его вовсе, рос стремительно, а ножницы
резали, холодные садовники, как всегда,
в мае, без пощады, без любви,
ах подождите, лишь придёт тёплый
июнь и мягкие папоротники, безграничное





поле лета то есть реальности.
Но ножницы резали, вдоль линии и поперёк
волокна, портные, садовники и цензоры
резали тело и венцы, секаторы неумолимо
работали, как в детской витынанке,
где нужно вырезать лебедя или серну.
Ножнички, ножики и бритвы скоблили,
резали и укорачивали пухлые платья
прелатов и площадей, и каменных домов, деревья
падали беззвучно, как в джунгли,
и кафедра дрожала и прощалось на рассвете
без платков и без слёз, такие сухие
уста, никогда тебя не увижу, столько смерти
ждёт тебя, почему каждый город
должен стать Иерусалимом и каждый
человек Евреем и только теперь в спешке
паковать, всегда, ежедневно
и ехать безумно, ехать во Львов, ведь
он существует, спокойный и чистый как
персик. Львов есть всюду.





A black and white photograph of a garden. In the center, there is a small, domed pavilion with columns, situated on a raised platform. A path leads up to it. In the foreground, there is a pond with reeds and other plants. The background is filled with dense trees and foliage. The overall scene is a lush, well-maintained garden.

Патио

эссе
литературоведение



Герман Титов

3



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Герман Титов

Харьков

Пути русской поэзии: поиск смысла в ландшафте сказки.

Эта лекция была прочитана 28 сентября 2011 года в Харьковском ХАБе на Культуры 11. За расшифровку текста автор сердечно благодарит Любаву Мальшеву (Берген).

Первая часть лекции была напечатана в 10-м номере журнала ЛАВА.

Часть 2

Подводя итог сказанному в первой части, можно заметить, что получается достаточно сложная и даже несколько забавная картина. Вероятно, это связано, прежде всего, с отсутствием единой и общепринятой точки зрения на весь литературный процесс. По каким же, собственно говоря, критериям можно определять литературную и общекультурную значимость того или иного поэта? По его популярности? Ну, вот, общеизвестно, что Игорь Северянин был очень популярен среди современников. Во всяком случае, до 1917 года. Но, я думаю, сейчас очень сложно назвать его лучшим поэтом начала XX века. Кроме того, рассматривать литературу в отрыве от того что происходило в сопредельных искусствах, мягко говоря, некорректно.

Тут стоило бы опять – в который раз – обратиться к Пушкину. Точнее, к особенностям его биографии. В знаменитых и очень пространственных комментариях к «Евгению Онегину» Набоков проанализировал многие строки этой поэмы, написанной, казалось бы очень легко. Как и всякая, заметим, лёгкость, эта лёгкость, конечно, обманчива. Но даже и не это здесь главное. Главное – то, что почти всё, что теперь воспринимается нами, как естественный, как бы и без вариантов, ход русской речи, является почти подстрочником, калькой с каких-то французских образцов того же времени. Пушкин как образованный человек начала XIX века разговаривал в своём кругу, конечно же, по-французски. Он и читал прежде всего французскую литературу – русская тогда, при его активном участии, с его лёгкой руки, только появлялась. Появлялась в нашем современном восприятии. Обозначалась, так сказать, её столбовая дорога. Архаисты в главе с адмиралом Шишковым и т.д. окончательно проиграли. Синтез высокого «штиля», цер-





ковнославянской лексики и проч. с современным тогда разговорным языком не состоялся. Но, думаю, не стоит отвлекаться – это вполне отдельная тема.

Итак, можно с некоторым правом сказать, мыслил Пушкин тоже, прежде всего, мысленно переводя сложные культурно значимые конструкции с французского. Это не хорошо, и не плохо. Это, вероятнее всего, просто факт. И вот из этого родилась русская литература. То, что мы сейчас воспринимаем как клише, доставшееся нам от русского XIX века, является во многих случаях переводом французских классиков конца XVIII века.

Начиная, конечно, от Шенье и так далее. Даже пресловутый байронизм раннего Пушкина тоже, фактически, переводной. Через посредство французского переводчика Пишо. Тоже франкофонный фактически.

Английский в то время мало кто знал в России – в отличие от теперешней ситуации, когда всё «иностранное» фактически англоязычно.

Поэтому передача сначала тропов, а затем и смыслов с французского на русский после Пушкина она уже выглядела как определенная последовательность и несомненная преемственность. Кому-то надо было это сделать.

Фактически то же самое впоследствии пытался делать Брюсов – но в меру своего весьма скромного таланта... Первые русские символисты, то есть тот же Брюсов, Минский, Мережковский – мало их кто уже и помнит – были порой до смешного похожи на французских символистов. «Смешное», кстати говоря, увидел и остроумно спародировал тогда же Владимир Соловьёв. Вообще их (первых русских символистов) поэзию следует признать наибольшей неудачей русской культуры рубежа веков.

Все последующие – т.н. «младшие символисты» (из старших – Бальмонт или даже Гиппиус) и так далее – меньше всего похожи на какую-то репродукцию. Или, скажем, – неловкий пересказ написанного французами.

Даже русский футуризм, позаимствовав, было, название своё у Маринетти, быстро превратился в абсолютно самостоятельную и чисто русскую величину.

Это легко прослеживается начиная с чисто русского отрицания предшествующей культуры и глубинного, доселе, может, не высказанного, почтения к зауми. Эта адаптация, в сравнении с прежней, Пушкинской, которая заняла всю первую половину XIX века, состоялась





буквально за считанные десять лет, а то и меньше. Вспомним, что в начале девятисотых годов уже начали писать Белый, Блок.

Кстати говоря, – о методологии. Как правило, при любом исследовании, при постановке и разрешении каких-то вопросов ссылаются на «науку», которая якобы решает все вопросы. И, предполагается, – раз и навсегда.

Забывая о том, что наука по определению и не призвана это делать.

В любой науке, конечно, эмпирической по своей сути, есть некая система выводов, основанная, в том числе, и на строго научных данных, но – всегда – не только на них. Здесь очень важен мифологический пласт понятий, конечно, мифологии не в смысле «сказочки» как я уже говорил в самом начале, а в смысле сообщения о чём-то глубинном, о самом важном. О том, что в ранних примитивных культурах и выражалось исключительно посредством мифа, как наиболее сжатого по форме высказывания о самом главном.

Алексей Федорович Лосев обо всём этом написал исчерпывающе, не буду в повторяться. Скажу только, что употреблять слово миф всуе или в значении глупой сказочки здесь совсем не хотелось бы. Можно сказать, что вся нынешняя периодизация русской поэзии больше похожа на мифологию каких-то первобытных племён. Её, конечно, удобно излагать в учебниках. Об этом можно писать диссертации, это вполне уютная такая позиция, но, с другой стороны, когда всерьёз пытаешься приблизиться к какой-нибудь истине, она выглядит уж чересчур схематично. Как и как любая схема, причем схема совсем из другой сферы. Некорректно привнесенная в область литературоведения. Солидное на вид построение в итоге начинает трещать по всем швам.

Я уже встречал, например, такие вот глубокомысленные построения... Был Золотой век, был Серебряный, – а дальше что? Должен быть и Бронзовый век. Советскую литературу, когда самоустранились, так сказать, Маяковский, Есенин, перестали печатать Ахматову, Пастернака – чуть позже – тоже перестали печатать, начался расцвет советской литературы в собственном, не только временном, смысле слова – можно ли назвать Бронзовым веком? Честно говоря, я в этом сомневаюсь. От этого грустного времени показного оптимизма, конечно, что-то осталось и для вечности. Литературоведы изучают. Но я бы это не сравнил даже по какой угодно нисходящей линии с тем, что происходило в литературе в начале XX века.

И совсем другое дело – эмигрантская литература в Париже, Харбине и Берлине. Поэты «Парижской ноты», круг Ходасевича, Цве-





таева и т.д. Кроме материальных лишений и психологических проблем, связанных с отсутствием широкого круга читателей, им ничто не мешало, в общем-то, творить и продолжать пресловутый Серебряный век. Я бы, конечно, вместо этого крайне неудачного термина, ввёл бы другое определение. Оно, собственно, уже звучало, но отчего-то не прижилось в качестве ведущего термина для обозначения этого времени - Русский Ренессанс. Ренессанс, конечно, не в обычном ряду стилей (Ренессанс, Барокко, Рококо и т.п.), а Ренессанс в смысле наивысшего подъёма культуры и искусства, наивысшего взлёта духовной культуры народа.

Ведь такого единовременного расцвета всех искусств Россия не видела ни раньше, ни позже (на счёт «позже» – это, ведь, очевидно).

Можно, конечно, сказать что расцвет разве что русской прозы случился чуть раньше – в конце XIX века, но ведь здесь тоже очень близкая хронология.

Вряд ли такой расцвет искусств может повторяться. Сами участники всего этого движения, конечно, не могли это достоверно оценить. Они смотрели на все изнутри, но это не значит, что художники в широком смысле слова не чувствовали значимости того, что происходит, и не ощущали дивную краткость этого момента.

Если обратить внимание на знаменитый итальянский Ренессанс, сдвинувший, Европу с определенного пути, который мог столетиями генерироваться в рамках т.н. средневековой культуры», на совершенно другие рельсы, то сами деятели итальянского ренессанса прекрасно понимали что всё это зыбко, долго продолжаться не может. И, действительно, Итальянские войны вскоре похоронили это всё.

Но Ренессанс далее переместился в другие страны. Это, впрочем, отдельная история. Тут важно именно ощущение краткости происходящего, зыбкости его и, вместе с тем, ощущение важности: живое дыхание истории.

Мифология, которая возникла в связи с произвольной периодизацией, должна восприниматься, прежде всего, как абстрактное построение, а не как научные данные.

Вообще, наукопоклонство, которое характеризует уже лет 150 (или чуть больше) нашу цивилизацию, связано с тем, что наука, когда её призывают объяснить всё, что происходит в мире, по определению не может это сделать.

Объяснить всё может только миф, созданный, как раз, где-то на ее основе. Как это ни парадоксально. Однако, это отдельная тема.





Не будем отвлекаться.

Действительно, этот Русский Ренессанс начала XX века окончился достаточно быстро. Но и вся европейская культура с началом первой мировой войны претерпела безвозвратные изменения.

Если присмотреться и задаться вопросом: каково же главное изменение в сравнении, скажем, с XIX веком? Изменилось, прежде всего, то, что можно назвать подходом к образованию, к понятию самого образования.

В учебниках истории пишут, что античность окончилась с «падением» Рима.

Но, вообще-то Рим никуда не падал. Просто последнего легитимного Западно-Римского императора низложил варварский вождь – начальник его войска. И отослал символы его власти Восточно-Римскому императору в Византию. Как можно говорить, что с этим закончилась античность?

По большому счету ничего тогда, конечно, не закончилось и система образования, основанная на античности, жила себе благополучно всё Средневековье и всё Возрождение. Она, наоборот, была всё это время актуальна. Пример этого – классическое образование, которое так насаждал Победоносцев в России на рубеже веков он в конце XIX и в начале XX веков.

Если с этой точки зрения почитать литературу того времени, то гимназисты и вообще ученики весьма активно протестовали против зубрежки «мёртвой латыни», древнегреческого и т.д. С другой стороны, Блаженный Августин еще в V веке писал, что самым страшным для него была зубрежка древнегреческого языка. Действительно – зачем, если почти всё можно было читать на родной латыни.

Сама система классического образования рухнула не только в России в связи со злосчастной революцией, но и на Западе – после Мировой войны, после хаоса Версальского мироустройства. Потом была пауза – не такая уж большая – а затем Вторая мировая война. В мире не осталось места для классического образования, для мышления, связанного с греко-римским дискурсом. Наступило новое время, которого так которого ждали многие поколения левых и левацких мечтателей.

Это время оказалось по-своему интересным, очень динамичным, но с другой стороны, за это пришлось платить способом мышления и понимания. Люди образованные совсем иначе воспринимают те же обыденные факты развития культуры, когда у них изначально





отсутствует классическое образование.

То есть, самопознание, и представления об искусстве кардинально изменились. Причем изменилось как бы незаметно. И – тем вернее, заметим.

Проще было бы объяснять, если бы случился резкий слом, и единой что-то стряслось с этим всем. Ну как Октябрьская революция - была одна жизнь, после нее пришла совсем другая.

На Западе же ничего такого всё же не было. Да, мировые войны, да потрясения, разруха на какое то время. Запад, казалось бы, благополучно восстановился материально. И, пожалуй, даже «приумножился».

Однако, центр тяжести переместился из Европы в Америку. Потом рассредоточиваться отчасти начал. Но дело ведь не в этом. Само появление модернизма стало первым звоночком того, что культура, основанная на классических традициях, вступила в период заката. Тот самый закат Европы, о котором еще Шпенглер писал, вроде бы и не очень удачно, а всё же – пророчески.

Продолжение следует



Литературно-художественное издание

ЛАВА

проект клуба поэзии АВАЛ

Вёрстка, дизайн – Герман Титов

Сдано в набор 23.04.2012.

Подписано в печать 24.04.2012

Формат 70x100/16 Бумага офсетная

Печать офсет. Тираж 350экз.

Типография ЧИПП «Слово»

61024 г. Харьков ул. Лермонтовская,27

тел./факс (057) 7192195

Свидетельство о внесении

в государственный реестр:

ХК № 214 от 21.11.2007г.